

АЛЕКСЕИ
ТОЛСТОИ

Scan Kreyder - 18.06.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АЛЕКСЕИ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1972

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
В. Р. Щербиньы

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



ОВРАЖКИ

1

На степном хуторе, за семью оврагами, сидит помещик Давыд Давыдыч Завалишин.

Глубокие овраги между хутором и селом налились водой и набухли, на трухлявом льду сдвинулись зимние дороги, оголились невысокие курганы по сторонам; поднялись на них прошлогодние косматые репейники, и ветер, студёный ещё на полях, зашумел голыми ветлами.

Все ждали — вот-вот тронутся воды: хуторяне вскакивали среди ночи, с фонарем бежали на плотину глядеть — не прорвало ли; на постоянных дворах третий день томились проезжие, поглядывая из окна на опасное половодье; не ходила почта; не скакали по местным делам власти. И только Давыду Давыдычу было все равно.

Он успел уже и пополдничать и попить чаю и сейчас, распустив поясок на чесучовой рубашке, лежит на кожаном диване, против окна.

В соседней комнате выставлена рама; слышно, как стонет курица на солнцепеке и вот-вот налаживается стонать, но подходит петух, и она вскрикивает не своим голосом. Потом звонко ржет жеребенок на калде. Вдоль двора несутся голоса стряпухи и веселого кучера, и когда смолкают, сонный пес принимается колотить хвостом о собачью будку. Прыгают, чирикают, возятся, как пья-

ные, воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами голуби; а Давыд Давыдыч прикрыл подушечкой ухо, норовя заснуть...

Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленном полу, и пахли смолой новые стены, и в свету, между полом и окном, звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, а он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давыд Давыдыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажужжавшую в кулаке.

— Вот я тебя курице отдам,— сказал Давыд Давыдыч, нехотя слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая брамапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.

— Вот, клюнь,— сказал Давыд Давыдыч, поднося мушку, но курица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал грязной коркой снег, и чем дальше, тем был он белее, и, поднимая глаза, увидел Давыд Давыдыч свой, еще под снегом, пар, курганы с репейниками, лиловую полосу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым крестом.

Давыд Давыдыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая бородка и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.

2

Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы все, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить,— были для Давыда Давыдыча тяжким бременем.

Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.

Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путаный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.

Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акаций, черемухи, сирени и черной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянах же и дальних аллеях росла высокая, густая трава.

Когда Давыду Давыдычу не хватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйно растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повиликой, качались и цвели повыше его головы; над ней же толклись неуловимые мошки и бабочки и гудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давыд Давыдыч научился многим ухваткам — подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения, прятаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глубине.

Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой, и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными шкафами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давыд Давыдыч садился в глубь дивана и читал приключения. Он полюбил веселый нрав зверей, птиц и всей живой твари, траву же стал считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.

Но с каждым летом Давыд Давыдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного. Сколько ни открывай и ни обшаривай темных углов. И почувствовал скуку, словно впереди ожидалось таинственные события, а сейчас только было томительно, некуда себя ткнуть.

Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожидание совпало с семейным несчастьем. Отец Давыда Давыдыча часто уезжал

(матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давыд Давыдыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, проснувшись, плакал в своей постели. Но наутро матушка была, как всегда, бледная и печальная; отец же, едва сдерживая гневный блеск черных глаз, привлекал сына и рассеянно гладил его по голове до тех пор, пока Давыду Давыдычу не становилось скучно и больно. Иногда матушка стремительно прибегала в сад и, словно сын ее спасся от несчастья, прижимала и целовала его, но Давыд Давыдыч не понимал и этих ласк.

Однажды отец вернулся из города вместе с маленькой черной и надушенной дамой, и матушка стала вдруг необыкновенно оживленна — смеялась, ездила верхом, пела и гуляла с приезжей. Но вскоре Давыд Давыдыч набежал в саду на отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечи и держа в руке револьвер; издалека же по аллее неспешно шла матушка в белой шали. Давыд Давыдыч тронул отца за локоть, отец выронил револьвер, закрыл глаза и страшно закричал... В ту же ночь матушка разбудила Давыда Давыдыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, и они ехали до рассвета, пока на краю степи, за осенним туманом, не увидели главы церквей, водопроводную башню и дома губернского города.

Всю зиму Давыд Давыдыч, утруждаемый грамматиками и законом божием, читал Тургенева, потом Гоголя. Весною сдал экзамены на круглое два, но зато понял, какие еще таинственные встречи ждут его в старом доме и в саду.

На Фоминой в номер, где они жили, вошел отец, очень похудевший, но ласковый, поговорил с матушкой, посидел на диване, закрыв лицо рукой, и увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше не жила.

Но недолго веселился Давыд Давыдыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарами. Пробираясь в темные кущи за прудом, заглядывая за необхватные осокори, раздвигая кусты куртин, где гнили скамейки и столы на одной ноге, поднимаясь вверх, в нежилые и пыльные комнаты, рассматривая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченной залы, — повсюду боялся он встре-

тить кого-то и бродил и томился, ожидая встречи. Он похудел и вытянулся; на узком лице легли круги под глазами, он прятался, заслышав голос отца; на вопрос — о ком скучает — краснел, и сад уже казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось оно. Оно могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке, и ведьмой с голыми ногами и даже русалкой.

Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давыд Давыдыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, ждал, когда же из глубины, плавно поводя руками, выплывет под самые березовые корни опасная русалка.

Оно появилось после полудня, в июне, в малиннике. Оно оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, простоволосой, со смешным лицом и большими глазами. Давыд Давыдыч огорчился, увидев, что оно такое смешное, но подошел все-таки, поглядел исподлобья и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.

Давыд Давыдыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил — как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.

— Ты, может быть, в пруду живешь?

— Нет, — ответила девочка, — я живу у моей маменьки, вдовой попадьи, зовут меня Оленька.

Когда кончилась малина, Давыд Давыдыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые повести.

Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже заплакала горько над трогательным описанием малютки, заблудившейся в снежную ночь.

Давыд Давыдыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.

— Поцелуй крест, — сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик...

Давыд Давыдыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давыд Давыдыч сказал:

— Что ты красная какая, как кучер...

Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубрава вдали и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:

Вот по дороге, с сумой и клюкой,
Шел нищий убогий, хромой и слепой.
Навстречу природа попалась ему,
И нищий молил, поднимая суму...

Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смиренные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе в сумерках.

— Ну, что же, не удалась жизнь — начнем другую, — негромко повторял отец.

Давыд Давыдыч очень обрадовался матери и тому, что больше его не ласкали, как пропащего, но по ночам стали доносить его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.

В доме издавна жила седая крыса величиной с кошку; ее не могли ни убить, ни извести ядом — до того была умна и зла. По вечерам влезала она на стул, глядя, как едят, когда подходили — свистела и прыгала высоко и недавно укусила за голову пьяного повара.

Вскоре матушка велела затопить с зимы еще нечищенный камин и села с отцом около огня, в креслах...

Отец глядел на матушку, и поднятые брови его сдвигались; из-под ресниц матушки капали слезы.

Вдруг с треском разлетелись головешки, и из огня, вся в пламени, выскочила крыса и пропала в дальнем углу.

Отец бегал с каминными щипцами по дому, а матушка, схватившая сына, долго не могла успокоиться.

Наконец Давыда Давыдыча увели наверх, раздели, долго крестили и велели спать. Но не успел он, казалось, закрыть глаз, как в комнату вбежала горящая крыса, покрутилась на паркете и принялась подскакивать все выше и выше — до потолка. И вдруг, доскочив, забегала

по потолку кругами, обскакала стены и наконец, жалобно запищав, стала отряхивать с себя угольки и язычки пламени, которые наполнили комнату розовым светом.

«Горим»,— наконец проговорили, точно издалека. Давыд Давыдыч сел на кровати и позвал мать. В доме было тихо и темно. Только где-то похрустывало и потрескивало.

Давыд Давыдыч закутался с головой и накрылся подушкой, а снизу опять, точно не по-человечески, закричали пронзительно: «Горим!» Тогда Давыд Давыдыч соскочил и распахнул дверь. Яркий, красный, радостный огонь кинулся на него зыбкими язычками, бушуя по винтовой лестнице, как в трубе.

Давыд Давыдыч захлопнул дверь и стал слушать, и среди треска и шума различил голоса отца и матери: «Давыд, Давыд...» Тогда он побежал к окну, уцепился за ветку липы, выполз и вместе с хрустнувшими сучьями упал в траву.

— Спасибо, трава, я тебе этого не забуду,— сам не зная зачем, проговорил он и стал глядеть, как из нижних и наполовину верхних окон льется свет; в комнатах не зажжены ни лампы, ни свечи, но ясно в них от света, портьеры шевелятся, и по обоям пробегают язычки...

«Это крыса там бегают»,— подумал Давыд Давыдыч и побежал по мокрой траве, пока не остановился у пруда... Из-за вершин деревьев, заслоняющих дом, шел теперь густой, черный, словно с кровью, дым; потом он посветлел, и запрыгала, затанцевала над вершинами огненная корона.

«Это крысиный царь поднимается»,— подумал Давыд Давыдыч. А языки на короне взмахивали все выше и слились в один, завернутый наверху, откуда посыпались искры. Черные, как смола, тени легли на траву, до самого пруда; вода стала живой и зыбкой, и стволы берез с одной стороны покраснели. Сверху же, с высоты, маленькие птички, сложив крылья, падали в огонь.

Утром стало обыкновенно в саду, только по кустам и над травой лежала грязь. Осторожно раздвинув ветви, появилась недалеко Оленька, подбежала к Давыду Давыдычу, взяла за руку, сказала:

— Я говорила им, что ты здесь,— и увела из сада на двор. У конюшни, покрытые занавеской, лежали на

траве две фигуры.— Стань на колени, помолись за папу и маму,— сказала Оленька.

Давыда Давыдыча взяла к себе петербургская тетка. Он прохворал у нее почти всю зиму, к весне же вытянулся, заговорил петушиным голосом и, казалось, совсем забыл и отца, и мать, и Оленьку, и свои клятвы. Затем пошли долгие годы учения: они вылепили при помощи установленных средств обыкновенного, установленного образца, молодого человека и выпустили жить.

Окончив юристом, Давыд Давыдыч принялся думать, куда себя приноровить, и, ничего не удумав и не разрешив, уехал в родной город: все-таки это был город знакомый.

Здесь он заметил, что точно так же, не думая и ничего не решая, живут почти все, предаваясь по мере сил всевозможным удовольствиям.

Давыда Давыдыча приняли как своего и очень легко, прямо в лоно удовольствий. Он устроился при суде; снял квартиру, соблазнил жену следователя и решил, что сам он милый, приятный и опасный для мужей человек. Весною он съездил в Завалишино. Богатое когда-то имение было разорено опекой. Рядом с пепелищем стоял новый флигель; на заросшем дворе гулял древний мерин, свидетель прошлого, весь в укусах и шишках; опустели хозяйственные постройки, разрушались медленно, сад поредел, и Давыд Давыдыч от забытых, смутных, таинственных воспоминаний поспешил уехать обратно, не взяв даже отчета у приказчика.

На следующую зиму его уговорили жениться на Анне Ивановне — богатейшей купчихе. Дворяне в уезде обезземелили, и в предводители никто не шел. Анна Ивановна была воспитана в Париже, имела обстановку в стиле ампир и желала заказать приданое с дворянским гербом. Вообще не было причин не жениться. Перед свадьбой Давыду Давыдычу посоветовали привести в порядок бумаги, и он опять поехал в Завалишино.

Стояла весна. Пело множество птиц, и от земли шел густой запах. Увидев издали осокори на своем пруду, Давыд Давыдыч велел повернуть, не проезжая хутора, прямо к селу и остановился у церковной ограды. Сквозная ограда, выложенная так, что между кирпичами образовались кресты, была выкрашена в белое. За

ней росла, перекидывая ветви наружу, белая сирень. Проходя влажной дорожкой, Давыд Давыдыч увидел под сиренью на скамье девушку в белом платье, которая глядела на подходящего странно и пристально. Давыд Давыдыч поклонился, спросив, где можно найти священника. Девушка встала, оправила юбку и молвила:

— Старый батюшка умер, а новый приедет из города завтра, я его невеста...

— Вот досада,— сказал Давыд Давыдыч и объяснил, что приехал выправить метрику, и назвал себя.

— Я знаю, я вас узнала,— сказала девушка,— а вы не узнали; я — Ольга, вдовой попадьи дочь...

— Не может быть, позвольте вы — та самая... помните...

— Да, помню,— ответила Оленька.— А вы зайдите к псаломщику, у него церковные книги,— и она быстро ступая, прямая и легкая, прошла впереди Давыда Давыдыча в церковь и, пока он рылся в книгах, стояла в стороне; он оглядывался, улыбаясь, она не отвечала на улыбку, и когда, уходя, он взял ее за руку и сказал: «Вот опять встретились, как странно. .» — она высвободила из его ладони пальцы и так посмотрела, синие глаза ее так гневно потемнели, что Давыд Давыдыч разговора не продолжал.

Переночевав на въезжей, он наутро опять пошел в церковь и расспросил дьячка об Оленьке.

Оказалось, что она училась в гимназии и после смерти попадьи осталась в селе учительницей. Ее много сватали, даже земский доктор, но она отказывала всем и только прошлой осенью (как раз когда Давыд Давыдыч заезжал на день в усадьбу) согласилась выйти за поповского сына, который ждал смерти больного отца, чтобы самому вместо него принять священство.

Из церкви Завалишин пошел к речке, где у обрыва увидел ветхий, кривобокий, прислоненный к старой ветле домик вдовой попадьи. У окна сидела Оленька. Она посмотрела на подходящего, и опять в глазах ее появилось вчерашнее выражение, точно страх и гнев. Давыд Давыдыч, улыбаясь, стал кланяться; Оленькина красота взволновала его странным чувством.

— О чем вы задумались? — спросил он и опять понял, что не то сказал. Подошел к окну, под которым

цвел шиповник, и увидел, что Оленька на ладони держит медный крестик.

— Замуж я выхожу,— сказала Оленька и вдруг наклонила голову и стала глядеть на Давыда Давыдыча исподлобья; он видел, как глаза ее заволокло слезами; она сердито тряхнула головой и отвернулась.

— И я женюсь, вот как это все вышло,— ответил он, и тупая, безнадежная скука наполнила его после этих слов, и все показалось давно известным, ненужным, бездельным...— Надо как-нибудь жить,— окончил он.

Оленька помолчала. Потом сказала поспешно:

— Отойдите от окна, неудобно, люди увидят... Так-то, милый мой друг...

Она быстро поднялась и отошла в глубину комнаты.

Накануне петровского поста Завалишин обвенчался, и Анна Ивановна увезла его на море, потом в Париж. Вернувшись, он пошел в уездные предводители, освободил родовое Завалишино от долгов, завел первый в городе по объединению и веселью дом и рысаков, кучу друзей, а потом и любовницу.

Когда же все, бывшее в кругу полусонных его желаний испыталось, Давыд Давыдыч увидел, что Анна Ивановна — противное, злое и сладострастное существо, а сам он несчастен и нечист.

Вернувшись однажды ночью в дурном настроении, он прошел на половину жены и, услышав за дверью спальни голоса — ее и чей-то мужской, вынул револьвер и выстрелил в дверь, даже не со зла, а черт знает зачем — для гадости.

Анна Ивановна обиделась и уехала в Берлин. Давыд же Давыдыч, написав ей короткое и ясное письмо на обрывке модного журнала, засел в родовом своем Завалишине навсегда.

3

Не повесть эту припоминал Давыд Давыдыч, лежа в окне, не о бесплодно растраченных силах думал он, а о том смутном и волнующем ожидании чего-то (события, катастрофы), чего-то — огромной важности; и хотя до сих пор ожидание обманывало, все же каждый раз казалось ему, что именно теперь приходит самое важное; так

и сейчас он старался заглянуть в глубь себя, потому что, казалось ему, событие, хотя и придет извне, всю силу и важность получит, только утвердившись в нем, в Давыде Давыдыче.

Из конюшни в это время, стуча копытами, вылетел молодой караковый жеребец, волоча кучера на поводе. Вылетев, стал посреди двора, махнул хвостом, заржал, прыгнул на дыбки, потом он и кучер рысью пробежали на задворки.

— Красавец,— сказал Давыд Давыдыч,— вот силища,— и когда оттопыренный конский хвост скрылся за углом, он медленно, с опущенной головой, с заложенными назад руками, отошел от окна. «Жеребец ржет и прыгает на дыбки, значит пришла весна, и никому нет дела до того, что когда-нибудь перестанешь прыгать, ляжешь и околеешь. Почему же мне одному не все равно? — думал Давыд Давыдыч, шляясь по кабинету.— А оттого мне не все равно, что это — самое главное, чего я сейчас ожидаю, и будет моя смерть; вот и все».

Закрыв ладонью глаза, он представил свои похороны: вышло глупо и не трогательно, главное — по-обыкновенному, и Давыд Давыдыч даже сделал подобающее грустное лицо, какое было недавно у всех на похоронах председателя суда... Тогда он вообразил самое смерть — себя, умирающим в кровати, и замотал головой — фу ты черт!

— Нет, нет, событие будет другим, не смертью!.. — воскликнул он торопливо.— В сущности отчего я несчастен? Все люди такие же, с изъяном. Не знаю ни одной счастливой семьи. Отчего же я должен быть другой, а не такой, как все?.. — Он хрустнул пальцами и с отчаянием сказал: — Ах, нет, все, должно быть, верят во что-нибудь или просто живут не думая, а я верю только в одно, что умру и что умирать не хочу...

В это время осторожно отворилась дверь, и в ней показался небольшого роста худощавый мужичок, в нагольном заерзанном полушубке, с красным, много раз обернутым вокруг худой шеи, вязаным шарфом. Шапку он держал в руке, и, подмигивая на барина, спросил:

— Чего ты, ась?

— Я не тебе... Ты зачем?.. — спросил Завалишин, немного смутясь.

— К тебе я, здравствуй,— ответил мужик и подал руку.

Пожимая ее, Давыд Давыдыч почувствовал все его жесткие ногти и мозоли. «Вот этот мучиться не станет»,— подумал он, сел к столу, отодвинул локтем поднос с водкой и колбасой и сказал:

— Садись. По какому делу? Как зовут?

— Андрей, Андреем зовут,— ответил мужик и присел на краешек стула, умильно покосясь на водку.— Едва до тебя добрался, воды — прямо сила: овражки обязательно нонче пройдут, как уж я пробрался только...— По красному тощему лицу его пошли веселые морщины, он совсем зажмурил свои щелочки и решительно сказал, потряхнув бороденкой: — Промокли мы как есть.

Давыд Давыдыч налил ему водки в стаканчик и себе в рюмку. Андрей изобразил на лице уважение, боясь раздавить, взял стакан и выпил все до капли, крякнув очень громко, чтобы показать, как это действует.

— Ешь, угощайся,— сказал Давыд Давыдыч, пододвигая поднос.

— Чего ее — пищу зря перегонять,— ответил Андрей,— вино ей только портить. В еде этой сытности я не понимаю. Хоть бы кашу молочную — ешь, ешь, надоест, бросишь ложку, а ну ее...

Завалишин налил ему еще стакан, и после третьего Андрей размотал шарф и сказал:

— Под Хвалынским дачу мы строили; барин очень остались довольны и поставил нам угощение, всего наварил. Ели мы, ели, вот прямо надоело. Иван Косой — пильщик, мужик завистливый, мне и говорит: «Что же, Андрей, за бутылку съешь сейчас горшочек каши?» Я тут же говорю: «Ладно» — и кашу съел; ему жалко, он опять: «Каравашек ситного съешь еще за бутылку?» — «Ну да». Каравашек этот я съел, и еще так на четверть ему и наел. Надо мной смеяться. А уж я разошелся. На бахчах арбузов нарвал, дынь, огурцов и наелся, и вот с этого сырья меня разобрало... Так что в наземе после меня восемь цыпленков утонуло. Баловство. А пользы никакой нет от большой еды.

— Ну, видно, выпить я могу много больше тебя,— сказал Давыд Давыдыч.

— Это верно.

Помолчали. Завалишин мотнул головой, вздохнул окончательно и спросил:

— Так по какому же делу, Андрей?

— Беда у нас случилась, Давыд Давыдыч.

— У кого — у нас?

— Вот я давно вижу, что ты меня не признаешь. А я и папеньку твоего и маменьку, покойничков, как живых вижу. У попадьи я служу, у вдовой попадьи в работниках...

Рука Давыда Давыдыча, лежащая на столе, так сильно задрожала, что он ее принял и спросил, не поднимая глаз:

— У какой попадьи? Ольги Петровны?

— Ну да. Теперь она считается у нас вдовая. Пеп у нее утонул, ровно тому год. Она мне наказывала: «Хоть плыви, говорит, а дойди до Давыда Давыдыча, передай письмо». — Андрей залез за пазуху, пошарил и подал теплое помятое письмо.

Завалишин быстро встал, повернулся к окну и прочел:

«Я не хотела и не должна, но больше не могу... Скоро, может быть сейчас, опять начнется... Сознание мое такое убогое и короткое... Я тороплюсь... приезжайте... может быть, поможет... все равно... очень хочется увидеть вас...»

— Я не пойму, — перечтя кое-как нацарапанное письмо, сказал Давыд Давыдыч, — она больна?

— Совсем плоха попадьа, — подтвердил Андрей, — проваливается; обомрет, как провалится, и начинает ее корчить, и вопли. Нынче совсем, думали, отходит. Я и помянул, как маменька ваша, покойница, крестьян пользовала каплями, — говорю это попадье, она как всполыхнется, за карандаш ухватилась. «Неси, говорит, записку, носи ему, скажи, мол, все равно, мол». Плохо я разобрал, чего она набормотала... Вы уж дайте, пожалуйста, капель каких, Давыд Давыдыч, успею до ночи добежать, чай...

— Капель, — сказал Завалишин, — нет... — и не кончил.

Андрей тоже раскрыл рот и повернулся к окошку. За разговором они не заметили, как возрос и стоял те-

перь в сумерках глухой сильный шум: словно по всей степи поднялись древние леса и зашумели.

— Тронулись,— сказал Андрей,— вот беда, в село теперь не попасть, а я и скотину не убрал.

Но не гул вешних вод слышал Давыд Давыдыч в поднявшемся шуме, а голоса всех ушедших и милых, все шорохи, топоты пролетевших лет, и свой голос будто услышал он, и все это восстало в одно мгновение, и потому странный шум был так властен, громок и торжественен...

— Поди, поди, прикажи заложить санки,— проговорил Давыд Давыдыч отрывисто,— я сам поеду, надо спешить, беги, прикажи, скорее...

4

Караковый поводил синими глазами и рыл яму копытом, запряженный в ковровые санки. Давыд Давыдыч быстро сошел с крыльца, застегивая романовский полушубок, взял вожжи и сел; рядом сейчас же примостился Андрей.

— Ты зачем? Оставайся, я один поеду,— сказал Завалишин...

— Нет уж, как уж, неудобно,— ответил Андрей. Давыд Давыдыч ударил вожжами, караковый сразу весело и резво понес, кидая грязь и снег в передок саней.

Когда миновали плотину, Андрей сказал серьезно: — Правее, барин, забирай, целиной,— овражки вверху надо переехать.

Солнце к этому времени село в лиловую тучу, заслонившую закат. Ее края, как овечья волна, опушились золотом, и оттуда шли лучи. Когда они совсем удлинились, растаяли и погасли, золотая волна покраснела, стала густо-малиновой. Небо над закатом разлилось, как вода, а выше синева становилась непрозрачной, в ней открылась первая холодная звезда, и потом медленно все небо стало осыпаться созвездиями. На ровную пустую степь в унылых проталинах легла тень; снег, еще лиловый, похрустывал, и по нему, похрапывая, бодро и ровно бежал караковый.

— Послушай, Андрей, правду говорят, она не любила мужа? — спросил вдруг Давыд Давыдыч.

Андрей ответил не сразу; придерживаясь за барский кушак, он всматривался, видимо не одобряя выбранного пути.

— А за что его любить: жадный да противный, — сказал он. — Придешь в храм, с души воротит, одни старухи к нему и ходили. Как утоп, мы, конечно, пошумели, и она неудовольствие показала, — все-таки не хорошо тонуть так-то зря; а ей теперь много легче. Одно — обмирает она; да это, говорят, он ей не дает покоя — мертвый... А вы правее забирайте...

Но Давыд Давыдыч больше уж не мог забирать в верховья овражков. Со стороны, противоположной закату, появился тонкий свет, и поднялся над краем степи серп месяца. Завалишин, горяча вожжами и причмокивая, нес жеребца напрямик на овражки. Наконец впереди на снегу обозначилась темная полоса. Андрей положил руку на вожжи и сказал:

— Глина — это на том берегу; видишь, как снег осел, полегче, барин.

Давыд Давыдыч осадил; жеребец перебил ногами и стал, раздувая бока. Андрей побежал вперед и оттуда крикнул:

— Осело на аршин, а давеча я тут проходил совсем свободно. В санях не проедем, надо распрячь!

Жеребца распрягли: сняли хомут и седелку и тронулись... Ближний берег был покатым, на нем, между снегом степи и овражка, открылась талая земля, покрытая мятой травой. Андрей поскользнулся, побежал вперед и увяз.

— Не держит, — сказал он, — ну, да здесь мелко, с богом, — и скоро выбрался на тот берег.

Давыд Давыдыч был тяжелее и увязал глубже; каракоровый, у него в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, на другой берег он вымахнул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.

Они двинулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбатых гривках, в хрустящей прошлогодней траве, лежали овальные лужи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.

Овражков было семь, и средний из них — самый глубокий и опасный. По шуму воды издали было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.

Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в колючей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли, наконец, до среднего, Андрей сказал:

— Навряд переберемся, студено очень.

Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то елозя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давыд Давыдыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом. И ему не было странно, что самое важное сейчас в жизни — это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно — только хорошо.

— Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду, — сказал он негромко.

Андрей крикнул от холода и ответил, точно не слышав:

— Ты за гриву-то ему цепись, если что — конь добрый, вынесет; главная вещь — нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь...

Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась, под глинистым обрывом, свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текущие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и гнал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы... В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни плыть, ни ползти.

Давыд Давыдыч резко дернул за повод присмирившего жеребца и пошел по желтым пятнам снега... Андрей зашагал рядом, потом, повторив: «Смотри, коня ни-почем не бросай!» — побежал вперед на цыпочках и вдруг провалился по пояс.

— Дна нет, — крикнул он, побарахтался, на животе прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды. — Шабаш, — сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться; над снегом торчала лишь голова его в шапке.

— Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас,— еле выговаривая, забормотал Давыд Давыдыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал; лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот... Снег совсем стал жидким. Давыд Давыдыч запустил под себя руки и, застонав от боли, растегнул пряжки на полушубке, чтобы освободиться. Но сзади в это время громко заржал караковый, завозился и плюхнулся несколько раз.

— Узда, узда,— выговорил, наконец, Андрей.

Завалишин оглянулся. Жеребец, очевидно зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.

— Узду, узду скинь,— проговорил Андрей.

Давыд Давыдыч понял, что не сможет этого сделать и что не нужно это — пусть погибает караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сигнул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давыд Давыдыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.

Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну и слава богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя — и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он — смотрящий — был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и необъятен, что включил в себя и землю, и солнце, и звезды, и все... И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви,— слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых стихов,

сочиненных им на дереве... И за ней, быстрее, чем молния, возник ровный свет, он заслонил, как будто сжег, все призраки воспоминаний и был живой, и требовательный, и радостный... Давыд Давыдыч понял, что жив и хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникла в рот и ноздри. Он рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, и Давыд Давыдыч, ударив ногами в ледяное дно, появился на поверхности, жадно дыша колким, живым холодом.

Караковый лежал впереди, и над снегом торчала его голова и грива, в которую вцепилась рука Андрея. И конь и мужик медленно отделялись от снега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал их, подхватил, закружил и понес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров снега, открыв Давыда Давыдыча, который, освобождаясь от каши, тоже поплыл, сносимый течением, и долго хватался и царапался о глиняную кручу. Наконец на низком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег на берег, потом подтянулся, вылез и, шатаясь, пошел.

Месяц, чистый и острый, стоял над головой. В овальных лужах, в каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давыд Давыдыч раздроблял сапогом тонкие зеркала этих луж. Потом он с трудом повернулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибились Андрей и караковый.

Через силу стащил Давыд Давыдыч сапоги и побежал к селу. Остальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мирского амбара, в лунном свете, сидел неподвижно седой караульщик.

— За народом беги, тонут! — сказал Завалишин, тыча пальцем в сторону, откуда пришел, и когда караульщик, поняв наконец, заторопился, он двинулся дальше, к белой колокольне, за которой между двух лип стоял Оленькин дом.

5

Оленька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худыми руками голову. Синее полотняное платье на ней измялось; на левой ноге спущен черный чулок, на кончике висела туфля.

Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окон, отражалась в пыльном зеркале; на его поверхности проведено много запутанных линий; должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двухспальная помятая кровать.

Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно кончился припадок — невыносимый кошмар, изнурявший ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачивалось, как маятник, один в тишине тикавший, взад и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате; молчал даже сверчок — запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха, — наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.

Один раз только Оленька остановилась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло невольно, как запоздалая молния после грозы...

На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное письмо, на то, что, может быть, еще увидит она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жизнь.

В сенях резко затрещали ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька, — словно игла, прошел через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и выбежала в сени, придерживавшись за косяк.

В дощатых сенях ничком лежал Давыд Давыдыч, подвернув под себя руки. Пиджак его обледенел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.

Оленька положила руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закричала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька

присела над телом и обеими руками схватила голову Давыда Давыдыча, стараясь приподнять и взглянуть ему в глаза.

— Пришел, вспомнил,— сказала Оленька, оборотясь,— дышит, дышит...

— Батюшки, к соседям побегу, одним разве втащить! — завопила кухарка и кинулась на улицу.

Давыд Давыдыч начал стонать и силился подняться сам. Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил:

— Оленька!..

— Что, милый? Что, родной мой! Не слажу я. Сейчас придут...

— Оленька, слава богу...— И, не окончив, он опять лег, подышал и вдруг, приподнявшись, сел к стене.

Глаза его были мутные, обледенелые волосы торчали во все стороны. Он долго глядел на свечу, потом уронил голову. Оленька негромко ахнула.

Вошли, топая, соседи-мужики, три брата, поклонились, сказали друг дружке деловито:

— За голову, за ноги берись, да не стукни,— легко подняли Завалишина, внесли в избу и посадили на сундук.— Одежду снять с него надо и водки влить ему две чайных чашки с солью,— сказали мужики.

Кухарка кинулась, принесла водку и чашку, и Давыд Давыдыч, давась, выпил и громко, словно отлегло уже самое тяжелое, принялся охатъ, не открывая глаз.

— Вино действие оказывает,— сказали мужики, и только вышли, как опять вбежала кухарка, крича:

— Где водка-то? Батюшки, Андрея нашего ведут...

— Вот и слава богу,— проговорил Давыд Давыдыч и осел...

Оленька одной рукой охватила его, другой принялась расстегивать и снимать мокрую одежду, все время заглядывая в лицо и жалобно улыбаясь его столам...

6

Закрытый одеялом, Давыд Давыдыч лежал в постели навзничь. Глаза его теперь блестели; лицо было красное и сухое. Оленька быстро и настойчиво ходила по половику. Завалишин говорил:

— Помните, как я поклялся, вот и пришел. Мне хорошо! Только, Оленька, отчего холодно?.. Точно бы лед под боком лежит. Такое было беспокойство эти дни; думаю: что же это должно случиться? Неужто—смерть? Не хотелось умирать!.. Уж никак не мог догадаться, что же это нужно сделать такое. Страшно было одну минуту, когда уходил под воду... Очень было страшно, а потом хорошо. Какой свет я видел, Оленька!.. Начался он в таких пространствах. И, знаешь, мне показалось, что свет этот был все же во мне...

Оленька подошла, постояла близко и опять заходила.

— Я не понял твоего письма,— продолжал он,— от кого тебя спасти? Кто тебя мучит? Ведь муж твой умер.

— Молчи, молчи,— торопливо перебила Оленька и быстро присела рядом к нему на кровать.

Он закрыл глаза. Она же глядела не в лицо ему, а мимо, на тот край постели, словно у стены кто-то был. Глядела она долго; в потемневших ее глазах появился ужас. Она соскользнула на пол, опять заходила, потом села на сундук, как давеча.

— Я знаю, это воображение или еще что-нибудь,— тихо и с отчаянием выговорила она,— но ведь все равно, это ужасно: он приходит каждую ночь! Теперь даже и днем приходит. Ложится, требует, грозит. И темнога здесь,— Оленька тронула темя,— мыслей уж нет, одни обрывки. И воли нет. Боюсь, боюсь. А теперь и сил больше нет.— Она помолчала, слезла с сундука и зашептала: — Ведь не сам он умер, я его извела. Никогда его женой не была. За то же он и бил меня по ночам. На колени станет, ноги целует, до утра молит. Потом сдернет на пол... Все тебя поминал. До того дошел — смерти стал искать и грозить этим. Я говорю: «Что же, вышла за тебя со зла и не люблю тебя, как женой твоей буду? Умирай, если терпеть не можешь». А когда нашли его в реке, принесли мертвого, поняла, что он от меня не отстанет. Каждый день, каждый день еще хуже, чем живой, приходит и мучит. И сейчас он здесь...

Щеки у Давыда Давыдыча разгорелись. Подняв под шубой колени, он пересилил себя, шумно вздохнул, улыбнулся и, высвободив руку, взял Оленькину ладонь.

— Не думай,— сказал он,— поди ляг.

Оленька стремительно охватила его голову, прижалась и жалобно воскликнула:

— Ах, он все еще здесь, посмотри.

Давыд Давыдыч повернул голову. Действительно, сбоку от него, у стены, на постели лежал неприятный незнакомец; тощий, темный, с длинным скверным лицом. Тело его, в сером и узком платье, было вытянуто, голова круто повернута, опухшие веки сощурены, прикрывая бог знает какие глаза...

Давыд Давыдыч криво усмехнулся и сказал:

— Вот он какой! Ну, что же, за нами пришел? Уводи... А я другое видел нынче. Я видел, как шел свет и поднимался обратно. Я видел Мировое Дыхание. Я не хочу идти с тобой. Выгнать бы тебя. Вытолкать. Ах, какой мерзкий!

Давыд Давыдыч хотел поднять руку и не мог. Тогда он закрыл глаза. Волна жара докатилась до его головы, застлала глаза и распалила... Он заговорил чаще и непонятнее. А из-за незнакомца, из стены, поплыли животные, прошли под одеялом, опустились на пол, заползли под кровать, приподняли ее и заколыхали.

«Отчего так мучат?» — пронеслось в сознании у Давыда Давыдыча... И он, вцепясь в простыню, стал поспешно думать — отчего. Но из-под низу животные щетинами прободали тюфяк и принялись колоть спину... «А в чем же, перед кем я виноват?» — опять огнем пронеслось в сознании. Он собрал со всею силой память и совсем уже понял, что незнакомец начал скатывать с ног его одеяло, потом навалился и стал совать одеялом в рот...

Задыхаясь, рванулся Давыд Давыдыч с постели и опрокинул свечку. И, в темноте, разводя руками, громко закричал Оленьку.

Нежные ее ладони сейчас же обхватили его, спрятали лицо в платье, на груди, и далекий родной голос проговорил:

— Не бойся, голубчик мой, я здесь, я не уйду.

— Оленька, Оленька,— говорил Давыд Давыдыч,— прости меня... Я понял, я ужасно виноват... Я люблю тебя, я постараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучат, а мы сядем вот так, обнимемся, родная моя. Одна на всем свете. Какая наша любовь! Какой свет!

Овражки прошли, и последний холод ночных заморозков истаял под возносящимся солнцем. Давно уже разъехались по своим местам проезжие; помещики и хлебопашцы налаживали сев; по-прежнему скакали с колокольчиками власти; успели уже подсохнуть дороги, и трава вылезла на вершок, выпустив под самое солнце невидимых жаворонков, — а только в апреле Давыд Давыдыч в первый раз пришел в сознание и спросил — который час.

За все время Оленька не отходила от его постели, слушала бред и молилась, чтобы милый друг не умер; с каждым днем все глубже и нежнее любила она Давыда Давыдыча. Любовь ее заняла все прежние чувства, и между любовью уже не стоял никто.

Один раз только, перед вечером, когда Давыд Давыдыч спал, положив исхудалые руки на грудь, Оленька стояла у окна; в синем небе, невысоко, плыло единственное и странное облако. Через улицу переходил Андрей, таща на веревке теленка; черноглазая стриженная девочка, бегая с куском черного хлеба в руке, загоняла овец — черную, белую и барана; овцы ее боялись и не шли, а баран, опустив рога, глядел на хлеб; наискосок, на завалинке, дремал сивый старик; из двух изб, высунувшись в окошки, бранились две бабы — и никто не смотрел на странное облако. Оно же несло прямо на окно. Оленька провела по глазам, но в это время пошевелился Давыд Давыдыч и застонал, и она, вздрогнув, словно разорвала паутину, подбежала к нему, стала на колени и, всей жизнью своей, каждой капелькой крови любя и нежно жалея, спросила: не болит ли что, легче ли?.. Давыд Давыдыч открыл спокойно глаза, улыбнулся долгой улыбкой и спросил:

— Душенька, который час?..

И когда он опять задремал, теперь уже наверно выздоравливающий, она вернулась снова к окну. Облако поднялось выше над домом, — лиловое внизу, оно было белым и розоватым, плотными клубами; словно плыл воздушный остров, с церквами, куполами и снежными деревьями.

«Это наша земля, — подумала Оленька. — Как хорошо, ни воспоминаний, ни злобы».

Давыд Давыдыч сидел под липой на скамейке, одетый в парусинный халат, с накинутым еще на плечи пуховым платком. Под окнами, на кустах и по всей старой липе, рассыпались бледные листья, сквозь них небо казалось синее... За плетнем, на улице, было тихо, народ ушел в поля. У калитки, ведущей на двор, прислонясь, стоял приказчик...

— Хорошо, хорошо делай, как думаешь, а я, видишь, слаб еще, через неделю, может быть, приеду, посмотрю. Ступай, голубчик,— говорил ему Давыд Давыдыч.

Приказчик вздохнул почтительно и ушел, и уже за плетнем весело простучали его каблуки. Давыду Давыдычу было все равно — посеять ли пшеницу, или овес, или ничего не посеять. Он следил только, когда за ветвями, со стороны огорода, опять покажется белое платье Оленьки.

А прошлого он и не вспоминал, да и трудно было это сделать, потому что весенняя сила, убирающая зеленью землю, отгородила в нем прошлое от нынешнего дня туманной стеной... И он чувствовал только, что когда-то был за этой смутной завесой, но туда упал луч, коснулся его сердца и вывел его в нынешний день.

Платье Оленьки показалось сквозь кусты. Давыд Давыдыч покашлял. Можно было бы и позвать, но ему казалось приятнее, чтобы она пришла сама, с серьезным лицом, спрашивая глазами, отчего он кашляет...

Оленька услышала и, нагнувшись под ветками, подошла и села на скамью. Худое лицо ее подернулось золотом солнца; синие глаза немного снизу вверх глядели на Давыда Давыдыча, на белом платье лежала темная коса, и руки испачканы землей...

— Что ты делала? — спросил он.

Губы ее, тоже в золотом пушке, задрожали, она улыбнулась и не ответила. еще глубже заглянув в глаза. Давыд Давыдыч не успел ее рассмотреть хорошенько, так быстро она подошла, а хотелось поглядеть еще, как она ходит, поднимает руки, обертывая голову. Он попросил:

— Кажется, платок вот куда-то подевал... принеси...

Оленька легко встала и, легко ступая по дорожке, пошла к дому, белое платье ее разлеталось внизу; в две-

рях повернула голову (он понял — так легко ей ходить и обертываться, а вот сейчас отмахнется от мухи, — и отмахнулась).

«Милая», — подумал он и сказал:

— Нет, вот он, платок; Оленька, посиди со мной, что ты все в огороде копаешься!..

— Репу пересаживаем, — сказала она; села рядом, вздохнула и, немного сгорбившись, положила руку свою в его ладонь.

Давыд Давыдыч взял ее руку и поцеловал и, не глядя на Оленьку, стал думать, как бы лучше и понятнее выразить ей давно уже придуманную мысль. Она была такова:

«Мы вышли точно из огня и сейчас, как первые люди — влюбленные, чистые и мудрые. Но нам надо жить, и очень долго. Как же сделать так, чтобы мы могли жить и остались такими, как сейчас?» Сказать все это было мудро, и, конечно, Оленька спросила бы: «А зачем нам становиться другими?» На это бы ответить он не смог. Кроме того, всякий раз умно придуманная фраза казалась ему не такой уже умной, когда садилась Оленька около него на скамью.

«Мы должны стать мужем и женой, — подумал он, — вот это ей и скажу», — и, поглядев на смирную Оленьку, он обнял ее за плечо, в другой руке расправил испачканные землей ее пальцы и сказал:

— Оленька, я тебя очень люблю.

Она кивнула головой, подтвердила и сидела все так же тихо.

— Подумай, — продолжал он, — все силы уйдут на то, чтобы думать все об одном, а если мужем и женой — какая жизнь прекрасная, — любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...

Оленька отстранила от лица прядь волос, внимательные, серьезные глаза ее так понимали, что Давыд Давыдыч замолчал. Она положила его руку себе на колени, и румянец, едва заметный, все сильнее стал заливать ее лицо. Она раскрыла рот, вздохнула громко и сказала:

— О чем ты говоришь? Люби меня, как хочешь. Как нужно... А я уж не только люблю, живу этим...

В сумерках они вошли в дом и, не зажигая огня, продолжали говорить о том, что лучше любви ничего нет, о том, что можно любить один только раз, о том, что они нравятся друг другу ужасно, и о том, что небо раскрывается только перед смертным часом, хотя об этом они говорили меньше всего...

Наутро Оленька дрожащей рукой ударила в раму, окно раскрылось, и комната наполнилась запахом земли и трав, криками воробьев, голосами и дальним топотом шагов... Сквозь расцветающие кусты синело небо, чистое, лазоревое, теплое. Оленька подумала: «Ведь это небо, оно мое, оно прозрачно, оно покрыло всю землю», — и, оборотясь, она сказала нежно:

— Полно тебе спать.

Давыд Давыдыч раскрыл глаза и, глядя на тоненький силуэт молодой женщины в окне, подумал: «Оленька, небо, весна, радость — вот о чем всегда тосковал».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

1

В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растегин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером. Александр Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими каплями, на скулах появились пятна, растрепанная борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. «Продавать!» — крикнул он и повалился в кожаное кресло.

Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил папиросы одну за другой и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом.

Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу, пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее; волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе; Александр Демьянович гаркнул на него — «пошел» — и снова схватил телефонную трубку. На бирже начиналась паника... Растегин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растегин тяжело дышал.

Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек, небольшого роста, со злым и бледным лицом.

— Что это за фасон? Иди одевайся,— проговорил он деревянным голосом.

Растегин замахал рукой, зашептал:

— Молчи, молчи!

Художник Опахалов сел на угол стола, закурил папироску и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище — Растегина.

— Обстановочка у тебя, как в парикмахерской,— сказал он отчетливо,— ты бы еще свадебную карету себе завел, ландо с гербами, урод!

Растегин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую грудь, растопыбив голые ноги, закричал:

— Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на пятьдесят тысяч куплю.

Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал:

— Я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж, да и бороду сбрей, пожалуйста.

— Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?

— Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай.

Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался.

— Послушай, ты, как это говорится, берешься меня обработать до осени? Под двадцатые года? — спросил он после некоторого молчания.— К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел,— спит, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить!

Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедленно. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Пречистенке. И все анти-

квары, брик-а-брак и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную двадцатых годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.

До середины июля Растегин и Опахалов ремонтировали и обставляли дом, собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы и разговор его не выпирал изо всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой, Растегин же выехал в Н-ский уезд одной из волжских губерний.

2

Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи. Пыль, выбиваясь из-под конских ног, из-под колес, неслась клубом за тарантасом, садилась на кумачовую спину ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо; по бритым щекам его полз пот, оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадая во ржи,— не было ему конца.

Александр Демьянович слез с парохода нынче в шесть утра и сейчас уже перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу через тенистые парки, за зеленью сирени — тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью; ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню на пристяжной и говорил с досадой:

— Слепень совсем лошадей заел!

Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставало из-за земли облако и таяло.

— Когда же ты, черт, доедешь,— стонал Александр Демьянович.

— А вон тебе и барыня Тимофеева,— ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев.

Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и ветла; появилась красная крыша. Рожь по сторонам становилась все выше и выше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявою травой дворик.

В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была отворена; около, на травке, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах; изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки; унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали из ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась; собака тотчас ушла в комнаты.

— Сама барыня,— сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились.

Александр Демьянович, приподняв шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал:

— Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.

— А по делу, так в комнаты пожалуйста,— проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую.— Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной, к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается.

Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.

Здесь было гологато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились; более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты; ситцевый диванчик и кресла едва стояли на гнилых ногах; только у окна было придвинуто крепкое садовое кресло, на него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая:

«Странно; совсем что-то не то, хотя действительно записано (он посмотрел в блокнот).— дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых, были в бояр-

ской думе, при Борисе жалованы вотчины в Смоленской, в Казанской и прочее».

Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака и слышался голос барыни: «Будешь ты у меня в комнаты шляться? Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди к себе в будку. Смотри, рассержусь». После этих слов собака за стеной зарычала; барыня притихла. Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от нетерпения и досады двинул кресло.

— Марья, поди посмотри, что это приезжий возится, — сказали за стенкой.

В гостиную осторожно заглянула толстая простоволосая баба.

— Баба, долго я буду тут дожидаться! — закричал на нее Растегин.

Баба ахнула и скрылась. Тотчас за стеной начали шептаться. Наконец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коденях руки и принялась молчать.

Лицо у нее, спокойно-наклонное к плечу, было узкое и в морщинах, волосы гладко зачесанные, с шевырюшкой на маковке; под заплатанной юбкой прятала она ноги в мужицких сапогах.

«О чем с такой чучелой разговаривать?» — подумал Растегин и сказал довольно сердито:

— Я путешествую для ознакомления с бытом помещиков, у меня есть рекомендательные письма, разрешите предложить несколько вопросов.

При этих словах барыня Тимофеева испугалась:

— Я дворянские внесла, и опекунские внесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительно никогда ничего не платит.

Растегин сейчас же выяснил, что он — частное лицо и лишь просит продать ему что-либо из старины.

— Продать? Что же вам продать еще? — все еще растерянно сказала барыня. — А уж я струхнула; думала — какой-нибудь тайный агент. Коли надо вам, возьмите вот диванчик этот или кресла. Их действительно давно нужно продать.

— Нет ли у вас чего-либо постарее, более стильного?

— Ведь это тоже очень старое,— робко ответила барыня и, подумав, все же повела гостя в столовую. Здесь посреди комнаты стоял черепок с молоком да несколько стульев у стены, старое дамское седло на подставке.

— Вот седло разве,— проговорила она задумчиво.

Из столовой прошли в залу. Здесь уже ничего не стояло. Окна были защищены досками; в глубине полуотворена дверь в небольшую комнату, залитую сейчас солнцем. На звук шагов оттуда послышалось рычание.

— Так и знала, что она туда забралась, мало ей во всем дому места. Неслух, вот я тебя плеткой! — воскликнула барыня и тронула Александра Демьяновича за рукав.— Сударь, помогите мне с ней справиться, пожалуйста.

Растегин вошел в освещенную комнату и поднял трость. С дивана в дверь с жалобным воем кинулась все та же собака.

— Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу — как об стену горох,— молвила барыня и потянула было Растегина из комнаты. Он же воскликнул удивленно:

— Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано. Та-та-та, покупаю весь кабинет.

Действительно, в небольшой комнате с темно-зелеными обоями стояли два тяжелых дивана с бронзой и резьбой; шкафы, полные старинных книг, столы — овальные и бобочком, конторка на витых ножках, в углу — горка с трубками. Сбоку непомерного кресла — пюпитр, на нем — развернутая книга, листы ее покрыты густою пылью; на всех вещах, на мелочах письменного стола, на пальцах у окна, на корзинке с шерстью — серая пыль; казалось, вещи здесь никогда не сдвигались со своих мест; только там, где лежала собака, можно было различить тусклый узор на штофе дивана.

— Ах, нет, я бы не хотела ни с чем этим расставаться,— после молчания прошептала барыня Тимофеева, и в испуганных глазах ее появились слезы.

Растегин потрепал ее по плечу и сказал:

— Если бы вы имели дело со скупщиком, тогда, конечно, барыня моя, но я, как говорится, по натуре — артист реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За це-

ной не стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам.

Барыня ахнула: пять тысяч!

— Вы сумасшедший,— прошептала она, отвернувшись к окну, вынула платочек и, тихонько покачивая головой, долго стояла молча.— Знаете, мне самой ничего не нужно, но мои старики больше всего любили эту комнату. Я уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень, но, боюсь, старики мои огорчатся; кабы я могла знать? Но нам разве дано знать о подобных вещах!

Растегин с удивлением оглядел ее сутулую спину, дрожащий кукиш волос на затылке, мужицкие сапоги. «Ого, барыня-то, кажется, того»,— подумал он и проговорил:

— А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.

На террасе накрыли чистенькой скатертью стол, толстая баба принесла измятый самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки. Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый дворик, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня; глаза у барыни все еще были печальные. Посмотрев на нее, на всю ветхость вокруг, на измятый самовар, Александр Демьянович подумал: «Вот так двадцатые годы! — довольно скучно».

Он опять заговорил о кабинете, накинул две тысячи, просил хорошенько подумать до вечера и, докурив папиросу, бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы.

— Они под часовней лежат. Гробы закрыты, но не заколочены, хотите посмотреть? — спросила барыня Тимофеева.

— Нет, благодарю вас,— ответил Растегин и подумал: «Шалишь, я за твоих покойников двугривенного не дам».

— Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие,— опять сказала она.

— Да, зимой день будет покороче.

— Сидишь одна по вечерам, раздумываешься, раздумываешься, пойдешь в кабинет, смотришь: а батюшка — в кресле, голову вот так опустит, будто смотрит себе на

колени, а матушка на меня глядит, сидит и глядит. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если так уж нравится кабинет. Но как же быть!

Она не спеша встала, предложила еще чаю, постучала по кринке с молоком пальцами, затем попросила обождать и пошла через дворик вдоль ржи, едва волнующейся колосьями выше ее головы, и скрылась за часовней.

Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по щеке, принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Опустилась роса, и комары, попищав, скрылись. В закате засияла звезда; темнело медленно. В дверях появилась унылая собака, понюхала и скрылась. Растегин поднес к носу часы. Было уже девять. По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.

— Баба, куда барыня провалилась? — спросил Растегин злым голосом.

— Барыня давно спать легли. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка.— Баба вздохнула и пошла.

— Эй, ты, вели сию минуту лошадей подавать! — крикнул ей вдогонку Растегин и, глядя на обсыпавшие все небо звезды, на белеющую под ними рожь, на силуэт часовни с высокой березой, думал, куда ему теперь из этой чертовой дыры ехать и где заночевать.

3

Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы; в ночную пору если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми и тарантасом, то около оказываются уже не одна дорога, а сразу три, и, поехав по средней, попадешь на пашню или в овраг.

Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, очутился, наконец, среди поля; небо заволокло, звезды пропали, и едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве,

и вдруг тарантас принялся подскакивать, крениться направо и налево; Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.

Ямщик сказал спокойно:

— По пашне едем.

— Свороти на дорогу! — закричал Растегин.

— Сейчас выедем. Но, милые! Фу ты! Стой, стой! Ну что, если в овраг угодим? Чистое наказание, темень какую наворотило!

После этого долго стояли где-то, поворачив лошадей по ветру; ямщик, слезши с козел, оглядывался, топал ногой по пашне, кряхтел.

— Некуда ей и деваться, обязательно должна быть дорога; вот ведь ехали, ехали и заехали! — Наконец он, захватив кнут, сказал: — Вы тут подождите да крикните, когда я голос подам, а то и вас потеряешь, — и пропал в темноте.

Александр же Демьянович сидел, спрятавшись в воротник, и слушал, как негромко пел ветер в гривах, в плетеном кузове тарантаса; на нос и щеки падали иногда капли дождя; Растегину казалось, что с левой стороны черное место — овраг и колеса на краю обрыва; он боялся пошевелиться — вдруг дернут лошади.

— Триста лет, черт бы их задрал, помещики живут, и хоть бы дороги устроили; ну что стоит поставить фонарь... Темень проклятая! — бормотал Растегин. — Двадцатые года! Тысячу раз дурень этот ездит и каждый раз плутает, наверное.

Он, ворча и досадуя, начал зябнуть, зафыркал носом, завертелся.

— Василий! — закричал вдруг Растегин, высунувшись из воротника, — где ты?

Лошади сейчас же дернули и пошли; он кинулся к вожжам и, не найдя их, принялся взвизгивать не своим голосом; испуганные лошади побежали рысью, увозя тарантас прямо к черту. Вдруг коренник захрапел, ударился обо что-то, пристяжка запуталась, и лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы и различил впереди себя огромный крест.

Дрожь пробрала Растегина; не смея пошевелиться, вспомнил он, что подобные кресты ставят на местах, где находят путника, погибшего не своею смертью. Стало

казаться, что повсюду из черной пашни торчат подобные кресты. И какие же люди должны жить в этом бездолье, бездорожье и темноте?

— Вот он и крест. Вот и дорога,— громко проговорил ямщик, вдруг появившись около тарантаса.— Видишь ты, куда заехали! К самому то есть мосту.— Он живо влез на козлы, присвистнул и поворотил направо.

Но направо моста не оказалось; повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал напрямиком, но сейчас же осадил коней и сказал с испугом:

— Ну, барин, нас бог спас, гляди — совсем в овраг въехали.

— Нет, уж пожалуйста, я дальше не поеду,— стуча зубами, пробормотал Растегин и выскочил из тарантаса.— Какой ты ямщик! Дурак ты, а не ямщик!

— Земля, она — земля, разве ее поймешь? — ответил ямщик.

Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев, стали различимы и лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на козлах ямщик в картузе; а еще спустя немного проступила и трава и борозды пашен; издалека, едва слышно, донесся крик петуха.

— Кочета поют. Это ивановские петухи,— прошептал ямщик, вытянув ухо,— вот какого мы крюка дали.

— Почему это непременно ивановские петухи?

— По голосам слышно, голоса тонкие. У нас в Утевке у петуха голос грубый.

— Эх ты рожа,— с ненавистью сказал Растегин, ему так и чесалось стукнуть глупого ямщика.— куда ты меня спать повезешь?

— Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем. Мы здесь с малолетства на этом деле, слава богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу, вот тебе за Ивановкой тут и усадьба.

Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буграков, живо покотился по светлеющей дороге на крик петухов. Скоро забрехали собаки, вправо показались ометы соломы, избы, утонувшие в соломе, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые ивановские кочета, влево же синела куща сада...

Ямщик, нахлестав, прокатил березовую подъездную аллею, завернулся на просторном дворе и стал около нового небольшого дома.

В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату, у одной стены — большой красный ящик на козлах, напротив — стол, на нем горящая свеча, две голых до локтя руки, в них растрепанная голова спящего человека, и от его локтя по всему краю стола лежащие окурки. По огромному усу Александр Демьянович признал в спящем старом своего приятеля, Семена Семеновича Чувашева. Он был известен в свое время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашева ли побили, Чувашев ли побил, или никто никого не бил, но какая-то дама вообще не вовремя родила, — словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.

Удивленный сейчас необычным его видом, Растегин громко постучал в стекло. Чувашев испуганно вскинул голову, кинулся к ящику, открыл его, что-то понюхал, захлопнул и только тогда повернулся к окну.

— Семен Семенович, это я, не узнаете? — закричал Растегин.

Семен Семенович исчез и тотчас же появился на крыльце, поддергивая клетчатые панталоны и недовольно шурясь.

— Ба-ба-ба, — проговорил он, — как не узнать. А за каким делом занесло вас в эту дыру? — И, не дожидаясь ответа, выпучил покрасневшие глаза на ямщика: — Ты что это у меня по клумбам ездешь! Молчать! — закричал он, хотя ямщик и не отвечал ничего, с видимым сожалением оглядывая помятые клумбы.

Александр Демьянович кое-как уладил дело, — дал завопившему внезапно ямщику на чай и вслед за хозяином вошел в дом. Уселись они за тем же столом, напротив красного ящика.

— Вы по какой, по пуговичной или по канительной части, я уж и забыл, — спросил Чувашев.

— У нас арматурный завод, окна и двери обделываем, да не в этом сила, на бирже немного подыграл, миллиончиков шесть, — ответил Александр Демьянович.

— Сколько? Так! А к нам зачем?

— За стилем.

Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежался по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, подпернул штаны и только крикнул, ничего не сказал и опять принялся бегать.

— Скажите, вы на ощупь чувствуете эти шесть миллионов? — спросил он наконец. — Ну и почувствуйте, черт с вами. Вот что я скажу: не туда заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу! Прадед, бабка и отец из-за стилия меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько... А было... Эх! Зато теперь — шалишь, я в себе американскую складку нашел... Надо дело делать, надо деньги ковать, вот вам мой стиль.

— Так-то так, а только на земле много не наживете, спекулировать на ней — туда-сюда, а то рожь да рожь — противное занятие.

— Ну знаете, я не так глуп. Именьишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только: «Способен?» И — конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип: каждую минуту я должен заработать минимум одну копейку: итого в сутки четырнадцать рублей сорок копеек, минимум, — Чувашев повернулся на каблуках и вдруг схватился за свой длинный нос, точно в испуге. — Тсс, — прошептал он, — вы ничего не слышали? Как будто пискнуло.

— Да, действительно кто-то пищит, — прошептал Растегин.

Семен Семенович живо подскочил к ящику, распахнул в боку его дверки и залез туда с головой.

— Вот это яйца, вот это я понимаю, ни одного болтуна, — проговорил он оттуда и вылез обратно, держа в руках пятерых только что вылупленных цыплят, — вот, не угодно ли, — пять паровых цыплят, а к осени будут у меня из них, на худой конец, пять петухов. Дело золотое, хотя беспокойное, — наладились, подлецы, выводиться по ночам; черт их знает — думаю, какая-то ошибка в инкубаторе; при этом паровой цыпленок — рожденный хам, — ничего не боится, так и лезет под

воронье. На! В каждом деле не без урону. Эх! Обратный бы мне капитал, я бы всю Европу курятиной накормил. Теперь вот что — идем купаться и завтракать.

— Мало я расположен купаться,— возразил Растегин, но все же поплелся вслед за хозяином в дом. Бревенчатые комнаты были уставлены универсальной американской мебелью, везде висели карты, картограммы, чертежи, на столах и подоконниках стояли механизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязанья носков и кальсон, из одной машины торчал недошитый башмак и прочее и прочее.

Чувашев указал рукой на все это и сказал:

— В этом доме каждая минута превращается в мелкую монету: сам шью, сам вяжу, сам тачаю, сам продаю, мышеловка выдумана мной, патентована, принцип чисто психологически-вкусовой, мышь лезет в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.

— Нет, я, знаете, лучше что-нибудь из старой мебели.

— А я говорю — такой мышеловки вы нигде не найдете.

— Нет, я патентом не интересуюсь.

— Купите одну модель. Поглядите, какая работа.

— Работа действительно хорошая.

— Берите, берите, по старой дружбе уступлю за пятьдесят рублей.

Александр Демьянович пожал плечами, все же вынул деньги, а мышеловку, не зная куда девать, положил в карман.

После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк, сырой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, а теперь засаженных капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь на высоких козлах стоял жестяной бак.

— Это мое второе изобретение,— сказал Чувашев,— я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку, и уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?

На крыше дул ветер, было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится, но хозяин так

уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец.

После купанья завтракали на террасе. Александру Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его посмотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок триста жестянок утиной печенки и еще кое-какого месива, вывел за ограду парка и указал на кучу земли, смешанной с навозом и порошком, его, Семен Семеновича, патентованным удобрением; но от покупки этого Александр Демьянович отказался наотрез. Больше смотреть было нечего. Приятели медленно возвращались по старой аллее в дом.

— Дорого бы я дал посмотреть, как живут настоящие помещики,— сказал Растегин,— вот одна такая аллея может облагородить человека.

Чувашев сейчас же остановился, ударил себя по лбу и воскликнул:

— Бац! О чем же я думаю! Сегодня везу вас на именины к Ражавитинову. Там увидите весь уезд. И уж такие двадцатые года — стул не передвинут. Меня по крайней мере всегда прямо тошнит в этом доме. Согласны? Вы мне дадите за это сто целковых.

— Да, знаете, вы действительно американец. Ну да ладно, ваша сила. Везите меня на именины,— сказал Растегин.

4

У больших окон ражавитинского дома беседовали дамы, глядя на подъезжающих гостей.

У каждого свой обычай подъезжать. Иной, надвинув картуз и подбоченясь, чертом вылетает на своих серых из тучи пыли под самое крыльцо; другой и клячонку выберет похуже и упряжь веревочную, и сам подмигивает на то, как дамы в окнах потешаются его видом; иной едет степенно и с важностью, как гусь, всходит на крыльцо; а иной спешит поскорее укрыться в дому, боясь пуще всего на свете — показаться смешным.

В одном окне стояли две барышни Петуховы, обе премило одетые в голубое, и рассказывали молодой вдове Сарафановой вполне дозволенные вещи.

Молодая же вдова внимательно слушала, как в следующем окне прокуренная табаком помещица Демонова ругала ее на все корки.

В третьем окне стояла хозяйка дома, всегда имеющая почему-то вид беременной, и с унынием глядела на толстую, высокую, красную, косую помещицу Тараканову, которая говорила восторженным басом: «Дорогая, я вас жалею от всего сердца, ваш муж просто воробей. Посмотрите: вот мой Петя — это идеал человека».

Идеал человека, без малого пудов на десять, находился тут же, одетый в табачный жакет и белые панталоны; он прятал одну руку за спину и слушал с милой улыбкой на круглом лице, похожем на овощ, иногда приговаривая шлепающими губами: «Ну, котик, ты уж слишком!»

Мимо окон спокойно прохаживалась девица Рубакина, рябая, в очках и в мужской поддевке. В уезде ее называли — «ефрейтор». Папаша Рубакин, со своими почками, сидел неподалеку в кресле и с любовью и страхом глядел на дочь, ожидая от нее всего. Она славилась как лихой наездник, стрелок и как большая умница с великими причудами. Прошлым летом были кавалерийские маневры, и «ефрейтор» участвовала в них, не слезая с седла: сама ходила с офицерами в атаки и на разведку, переплывала реку и хлопала водку, как сам эскадронный. Папаше Рубакину, при своих почках, пришлось трястись за ней недели две, старика это чуть не зарезало. Но все же ни один из офицеров так на ней и не женился.

В глубине белой, с колоннами и портретами, низкой залы стояли, дымя табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с такими складками на шеях, будто они их перевязали веревочкой. Здесь же вертелся Дыркин, Петр Петрович, в полосатеньком пиджачке, который он при всяком случае называл петанлером.

О травосеянии как средстве удержать в помещичьих руках уплывающую землю беседовал с братьями Сомовыми националист Борода-Капустин. Другой, просто Капустин, держал за пуговицу своего дядю — малень-

кого, усатого, взъерошенного либерала Долгова — и говорил:

— Если тебя приспичила совесть — возьми и поплачь, а мужиков не порти, не трогай.

— Все-таки, того-этого, ты меня лучше за пуговицу не держи,— отвечал Долгов.

Сам хозяин, Егор Егорыч, с виду совсем англичанин, хотя чрезмерно тучный, духом — коренной русак, характером же воробей, как выразилась Тараканова, все чаще пропадал за дверью, где звенели ножи, стучал фарфор, и оттуда долетал его веселый голос; появляясь в гостиной, он говорил:

— Господа, немного еще подождать умоляю, вот-вот Семочка Окоемов подъедет, без него, право же, нет аппетита.

Наконец одна из барышень, Петухова, воскликнула: — Едет, едет!

Гости подошли к окнам, глядя, как через клеверное поле ехали два экипажа. В переднем сидел один, без кучера, Семочка Окоемов, в заднем — Чувашев и какой-то посторонний.

— Кто бы это мог быть? — задумчиво спросил папаша Рубакин. — Какой-то бритый, кажется симпатичный.

— Странная рожа, — сказал Сомов.

— Да, рожа скверная, — промычал младший Сомов.

— Еврей какой-то, — сказал Капустин.

— А надавай ему в шею, — проворчал Борода-Капустин.

Дыркин ничего не сказал; он внимательно вглядывался, точно признавал Растегина; старое, сморщенное лицо его изобразило почти испуг, верхняя губа приподнялась, и появились из-под седых усов желтые зубы.

Экипажи тем временем подъехали; Семочка Окоемов сидел прямо на дне тарантаса, в сене; он замотал вожжи на облучке и высунул огромную босую ногу, но, поглядев в окна, тотчас принялся обувать сапоги, которые снимал, чтобы не тосковали ноги.

Александр Демьянович вошел в залу и слегка даже оробел, увидев такое многочисленное общество. «Дворяне, вот они какие», — подумал он и, еще не зная, как себя повести, на случай несколько раз нырнул головой,

как бы кланяясь. Никто на это не ответил. Чувашев подвел его к хозяйке и представил:

— Старинный приятель, приехал по весьма щекотливому делу.

— Насчет мебели,— сказал Растегин. Чувашев же пошел шептать по гостям: «Биржевой воротила, Рокфеллер, приехал деньги швырять».

— А мы встречались, хорошо вас и помню, за картишками... Дыркин, здешний помещик, вот радость нечаянная,— заговорил Петр Петрович, когда до него дошла очередь здороваться, и затряс Растегина за руку,— сядем-ка рядом за обедом, очень, ужасно рад...

Тем временем гости пошли к водке, в изобилии стоявшей за отдельным столом, среди закусок таких аппетитных, что про каждую можно было смело сказать — под такую выпьешь море.

Помещики налегли на водку; у братьев Сомовых с каждой рюмкой оказывалось уже не две, а по шести складок на шее; Рубакин, держась за почки, наклонился над закусками, говорил: «Эх, старость не радость!» — и пил под луковый соус; Борода-Капустин наливал себе зелье прямо в стакан, выпивал духом, говорил: «Ух!» — и нюхал корочку; Капустин приналег на коньяк; один Дыркин больше вертелся да расковыривал вилок паштеты, за что получил от Сомова замечание: «Что ты, брат, все нюхаешь? Ты ешь, а не нюхай». Тараканов, как человек идеальный, к столу не подходил, хотя и смотрел на него издали, с видимым сожалением шевеля короткими пальцами.

С Растегиным происходило странное: едва он выпивал рюмку, она вновь сейчас же наполнялась, но, когда он нацеливался на какой-нибудь пирожок, снедь исчезала и отправлялась за спиной его в чей-то рот; все это проделывала одна и та же рука, грязная и большая, как лопата. «Съесть бы чего-нибудь, не выдержу натошак», — думал он, и опять его подталкивали под локоть, и голос Семочки Окоемова ревел над ухом: «Ну-ка, последнюю, это вам не Москва, передергивать у нас не в обычае».

Хозяин, Егор Егорович, кое-кого уже оттаскивал за руку от водочного стола, говоря: «Шалишь, брат, ты мне все дело испортишь», и понемногу помещики, вытирая рты, уселись к столу.

Растегин поместился напротив Окоемова, между Рубакиным и Дыркиным. В голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось.

Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетиты; уже старший Сомов грохотал, тряся животом стол; уже Семочка Окоемов потребовал восьмую тарелку ухи, а Дыркин пустился рассказывать вслух такую историю, что помещица Демонова уронила в суп с носа пенсне, повторяя: «Ой, умру!»

Барышни Петуховы мало занимались едой, они делали глазами следующее: глядели ими на кончик носа, закатывали кверху, затем вскидывали их на Растегина.

— Как вам нравится моя дочь? Большая оригиналка, это у нас в роду,— точно сквозь туман и гул голосов услышал Растегин голос Рубакина.

— Страшно нравится,— ответил он, замечая, что у вдовы Сарафановой необыкновенно расширяются зрачки.

— Осторожнее, она вас живо обработает,— шепнул сбоку Дыркин.

— У моей дочери мужской характер; если приглядеться, то она привлекательна,— продолжал Рубакин, печально жуя огурец.

— Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличная тройка,— спросил через стол Тараканов, но, дернутый за рукав женой, сейчас же прибавил: — Извините, это я так!

— Видите, как вам навязываются,— шептал Дыркин,— я здесь никого не уважаю. Вот, видите, Сомов,— у него в кабинете нашли младенца в спирту, насилиу замяли дело; а этот, черный, худощавый, Борода-Капустин, жену заморил, честное слово, голодом и живет с цыганкой; вы что — опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуховых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии в камердинерах, оказался больной проказой; смотрите, как у них щеки напудрены. По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать — и лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены,— отказывайтесь наотрез. Верьте моему честному слову, все дрянь, а вот как свалит жар, к вечеру едем ко мне, я

вас познакомлю с моей домоправительницей, вот это — женщина, настоящая загадка, прямо Будда или сфинкс.

— Ага, вот они когда! — внезапно закричал Семочка Окоемов басом; перед ним лакей поставил полную миску раков; Семочка крякнул и принялся их грызть, выковыривая, и прихлебывая, и жмуря глаза, причем трудно было рассмотреть, когда он кончал и когда начинал следующего рака; по рукам его и по безбородым щекам текли грязь и сок.

— Дыркин, замолчи сию минуту, иначе об тебя руку оботру, — сказал он вдруг, и на мгновение его мокрая и непомерная рука повисла в воздухе, затем он опять продолжал прежнее занятие.

Дыркин, только что пустившийся в описание красот домоправительницы, сейчас же замолк и съежился.

— Вот этого черта больше всего надо опасаться, — шепнул он; и Растегину действительно стало казаться, что в этой глуши и его могут слопать, как вареного рака.

Дыркин продолжал:

— Смотрите, это нарочно он раками вымазывается, его заставляют на Рубакиной жениться, так он для отвращения вымазывается. А у самого на уме совсем другое.

Обед кончился. Разговаривать хорошо натошак, а после еды приятно взять подушку, да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. Хозяйка дома, никому уже теперь не нужная, куда-то ушла; Егор Егорович; огорченный, что вот уже и конец обеда, еще подходил то к одному гостю, то к другому, пробуя заговорить, но гость только тарачил на него слипающиеся глаза и во всем соглашался. Тараканов, отпущенный супругой, подошел к Егору Егоровичу и проговорил:

— Пойдем, того, в траву.

Либерал Долгов сел на лошадей и уехал; в доме стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые завертки.

Растегин брел по аллее, покачиваясь иногда, и придерживался за березовые стволы; из травы кое-где торчал угол подушки или задранная коленка; Александру Демьяновичу было смутно и тяжело и в теле и на душе; за поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева: они о чем-то точно совещались, хихикали и хло-

пали друг друга по коленкам. Повалившись рядом с ними, Растегин сказал:

— А я представлял помещичью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борис Мусатов! Раков жрут. Что это за разговор за столом, через каждое слово — кобыла, овес, рядовая сеялка. Неужто все шло гибло? Я — эстет, мне тяжело, господа.

— Слушай, Саша, — проговорил Чувашев, оглядываясь, — ты прости, пожалуйста, ведь мы с тобой, кажется, на «ты» выпили, так вот что — едем, — делать здесь больше нечего, вышла неприятная история, я тебе по дороге расскажу.

— Я бегу, у меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте, прямо ко мне, Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие, — сказал Дыркин и долго тряс вялую руку Растегина, который, ничего не понимая, тяжело сидел на скамье.

5

— Семен Окоёмов самый из них все-таки свежий человек, у него все в избытке — и рост, и брюхо, и страсти; он даже в университете учился, пока тетка не отказала именье, не большое, не малое, а ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее — вволю. А затем появилась у соседа, у Дыркина, домоправительница эта Раиса, женщина плотоядная, чудовищная, с грозowymi эффектами. На Семочку Окоёмова подействовала она, как землетрясение, он сразу похудел, затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики — не допускать к Раисе никого, и в средствах действительно не стесняется. Видишь, брат Саша, не увези я тебя вовремя с именин, костей бы не собрал, ей-богу. Одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой? Должно быть, очень хитрое; позвал он тебя ясно для чего: ему деньги нужны до зарезу; у Раисы свои деньги есть, да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянчить: «Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку!» — «Ей-богу, дедулинька, не помню, куда кубышку зарыла». — «А ты возьми и вспомни, подумай», — и он уж тут от умиления весь да-

же заслунявится. «Да где мне вспомнить, а может, злодей какой пришел да выкопал». — «А кто же этот злодей, душа моя? Имечко-то его скажешь?» К этому весь разговор и ведется; злодей оказывается молодым соседом, которого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем, а на следующий день Раиса выходит в сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее, да ты сам увидишь. Здесь уж кубышечка ни при чем, да и денег, я думаю, у Раисы маловато осталось.

Все это говорил Чувашев Александру Демьяновичу. По ровной степи они подъезжали к плоскому дождевому озеру; по краям его стояли убогие избы, росла большая ветла, на бугорке торчали две мельницы, напротив из-за кущей сада поднимались два синенькие купола. В мелком озере плавали гуси; солнце садилось за соломенными крышами. И представлялось, что избы, плетни, журавли колодцев и две эти ветрянки долго блуждали по безводной степи, не находя прохлады, и, устав, присели здесь у дождевого озера кое-как, словно утомленные птицы.

Должно быть, потому село называлось — Птичищи. Никто его не любил. Народ в нем жил унылый. Однажды был приказ: с противопожарными целями вокруг каждой избы насажать палисадник. Но птичищинские мужики по этому поводу сказали: «Бог-ат сам знает, где расти дереву, где не расти», и подали прошение, не разрешит ли его благородие вместо палисадников отсидеть им всем миром в клоповке.

Тележка промелькнула спицами по береговому песку, отразилась в воде. Чувашев сказал: «Я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам; завтра увидимся», — и приятели въехали в барский двор, расположенный посреди села; здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились, кое-где крыша, крытая соломой, походила на сломанную спину; с крыш, со старых деревьев поднялось множество галок; Чувашев взглянул на часы, наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно; Александр Демьянович вошел в дом.

Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная; она была одета в оборочки и кружевца

и казалась очень грязной; высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненном, невытом лице — печальные, совершенно развратные глаза; снимая пальто с Александра Демьяновича, она к нему прижалась; он посмотрел удивленно, она сказала: «Господа давно ожидают в столовой», — и заковыляла вперед на хроменькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостиную, Растегин увидел у боковых дверей фигуру не то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась; после нее остался запах острых духов.

— Наша барыня все спрашивала: скоро ли вы приедете, — сказала горничная вкрадчиво и отворила дверь в освещенную столовую.

На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около него сидел Дыркин, словно пригорюнясь. Он не поднялся при появлении Растегина, а только странно посмотрел на него с кривой усмешкой и проговорил:

— Приехали? Раису видели? Чаю хотите?

Александр Демьянович, предупрежденный Чувашиным, повел себя просто, хотя и удивился такому приему: пододвинул стул, развалился и, закурив, зевнул.

— Устал, как черт, — сказал он, — не спал ни крошки. Вы уж меня и ночевать оставьте.

— А вы не хамите, — проговорил Дыркин спокойным голосом.

— Что-с?

Растегин сказал это, сдвинув брови, и сразу, точно проснувшись, Дыркин захихикал:

— Ой-ой-ой, какой порох! Мы люди свои, обижаться не стоит. Эх-хе-хех! Давайте-ка начистоту да на откровенность. Стариковское дело, как говорится, — табачок; плохое житье старичкам, — хочется, да не может, и обидно и герпишь, а если и скажу колкое, кто же осудит, кто обидится, эх вы, красота моя!

Растегин даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь лоснился и походил каким-то дивным образом на большого, старого, лысого паука. С приговорочками и гримасами он описывал свое житье помещика средней руки. Кругом в долгах, в постоянном беспокойстве о векселях и деньгах.

— Не для себя, ей-богу, нет, а лишь для моей Раисы. А я уж сам в таких годах, что вот-вот и осенит меня, и не благодать, конечно. а как бы некое озорство над собой: уйду в монастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете, для чего? Люблю, когда сердце сосет: сладко и тошно, точно женщина тебя гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец! А сейчас у вас хвост трубой, мне и завидно. Что же: ваша взяла! Эх, Раиса, Раиса!

— А так, говоря начистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда не прочь, только надобно ее посмотреть,— сказал Растегин.

Узловатые от ревматизма пальцы Дыркина, который наливал чай, поспешно задрожали. Он живо наклонил голову, и мясистые уши его стали красными.

— Вам крепкого или среднего? — спросил он.— Я крепкого налью, все равно лимон съест.

В дверях в это время появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.

— Раиса, друг мой, подходи, не бойся,— вкрадчивым голосом забормотал Дыркин и засуетился, подавая стул.— Она у нас беда какая робкая... Святая душа, невинница... Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна, а ведь я ее из монастыря украл. Помнишь, Раиса, как по восьми часов службы простаивал! Английским пластырем ссадины на лбу заклеивал. Она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность... А внутри, может быть адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей! Стал ей письмеца подсылать с разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. Помнишь, Раиса?

Дыркин вдруг выпрямился — сухонький, маленький, жилистый,— закатил желтоватые белки больших оттянутых глаз:

— Ах, Раиса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему

ужасно способная. А есть ли у тебя душа, вот и не знаю! Честное слово, мучаюсь давно: есть душа? нет ли души? Верить хочу, верить! Тогда бы днем телесно мы наслаждались, а во время сна отлетали бы, устраивались на облачке и ласкались там с небесным излишеством. Ведь у души моей нет вставных зубов и лысины нет никакой, ведь душой я, быть может, на древнего грека похож!

— Помолчал бы ты, дед,— сказала Раиса нараспев,— при постороннем, а похабничаешь,— она взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы. Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.

В первую минуту Александру Демьяновичу она даже не понравилась, но он смотрел не отрываясь на ее выпуклые, холодные, как драгоценные камни, глаза. Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригорюнясь, над стаканом, Раиса ела варенье. Под столом, свистя шелком платья, двигались ее колени, словно что-то волновало ее, лицо же оставалось матовым и спокойным, ему не передавалось никакое волнение. Растегина прошиб, наконец, пот. Вдруг Дыркин придвинулся к его уху и зашептал:

— Одним чудовищным воображением ее при себе держу, честное слово! Только чуть порозовеет, вот и все. Замечательно! Потребовала раз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки ей — красный зонтик, и так въехали в город. Все рты разинули: В театре ложу тем же бархатом велел околотить,— гляди, мол, какой зверь сидит! Весь театр у нее перебивал; жены взвыли! А ночью велела себя по всем заведеньям возить. Впереди на извозчике еврейчика достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом-румыном, а затем — я, помещики и гимназисты какие-то увязались... Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына, совсем голого.— Дыркин захихикал, вскочил и, проговорив, что идет распорядиться насчет постели для гостя, выбежал мелким шагом.

Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта,— это была круглая ложечка с витой ручкой. дер-

жали ее два пухленьких пальца, а пятый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел ей в лицо: оно было мрачное теперь; «батюшки, людоедка», — подумал он; ее серые глаза точно опутывали паутиной, в них не было ни жалости, ни нежности. Наконец ему стало не по себе и тесно, — он криво усмехнулся.

— Чего смеетесь? — спросила Раиса громко и просто.

— Так, — ответил он.

— А зачем бреетесь?

— Так, бреюсь.

— Мужчина усы и бороду должен себе отрастить, — на что вы похожи?

— Отпустить, конечно, недолго.

Тогда она медленно усмехнулась так, что ему стало сразу и неприлично и свободно.

— За каким делом приехали, — проговорила она, — хорош!

Он живо пододвинулся со своим стулом к Раисе и захватил ее рукой за талию, шепнув: «Чего нам время терять!» — Тогда ее глаза стали дикими.

— Это что еще? — прошептала она, отодвигаясь. — У нас ведь работников шесть человек, кликнуть недолго. Дедуля, — обратилась она к двери (Александр Демьянович живо обернулся и увидел внимательно высывающегося из соседней комнаты Дыркина), — кого ты ко мне привез? — И она подобрала платье и вышла.

Дыркин появился из-за двери и после довольно едкого молчания проговорил:

— Собственно, за кого вы меня принимаете?

— Помилуйте, вы сами давали намеков.

— Намек? На что я вам намекал? Не помню. Вы где? В публичном доме? Эх вы, молодой кобелек!

Растегин стоял, опустив голову; он был сбит с толку, растерзан сердечно, и уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажником — естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.

— Идите спать, — проговорил он, — и помните: только игрой воображения и чувств можно добиться и себе местечка в женском сердце...

Александр Демьянович сидел в низенькой ветхой комнате у светлеющего окна. Дом спал. Тикали часы. По двору, поросшему подорожником, шли на озеро белые гуси. Впереди них гусак взмахнул крыльями и загоготал. У полуразрушенных ворот сидела сосредоточенная собака с усами; при виде гусей она поднялась и отошла в сторону. За изгородью над соломенной крышей поднимался дымок. Понемногу засвистали птицы в саду. Налетел ветер, зашумел листьями, посыпалась с них роса. Осветились вершины лип, и в окошко, гудя, ударилась пчела.

Все это было ужасно далеко от того времени, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз или досадное препятствие, он его просто огибал или опрокидывал. Ничто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем, а здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть, как редьку, выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу, а порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя, или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни и что выдернуть его и выкинуть, как редьку,—нельзя.

Конечно, можно было взять лошадей и уехать в Москву, но в том-то и дело, что сделать это было трудно.

«Боже мой, эта женщина слопает и меня и шесть миллионов,—думал в отчаянье Растегин,—нарядить ее в горностаи, в бриллианты, в райские перья—вся Москва сбежится смотреть: на Красной площади показывай! И живет она с этой отвратительной рожей, черт знает что такое! Тоже выдумал, поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные диваны,—сидеть на них, что ли, легче? А вот такая женщина без толку пропадает! Как ухватить? Хлопнуть ее ста тысячами, вот и все. Ведь не пойдет, нет! Ох, боже ты мой, что за женщина!»

Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время; вдруг за стеной раздался обиженный женский вскрик. Александр Демьянович вско-

чил, прислушиваясь, на цыпочках подбежал к стене и различил голоса Дыркина и Раисы.

— Ты чего не спишь? Ты все думаешь, ведьма! — шептал Дыркин.

— Да сплю же я, не щиплись!

— Нет, ты врешь, ты думаешь.

— Вот! Была забота! Привез какого-то бритого, он и посмеяться не может.

— Я тебе скоро офицера привезу, Раиса, в сажень ростом.

— Ох, привези, дедуля!

— Какая же ты все-таки дрянь, и ничему я тебе не верю. Я лучше от денег откажусь, а тебя на весь день запру в спальней, тварь постельная! А его ужо, после завтрака, за ушко да на солнышко, поезжай куда хочешь. Да, так и сделаю.

— Дедушка, а в пятницу по трем векселям платить.

— В саду кубышку поищем.

— Нет, дедушка, искать я не буду.

— Чего же ты от меня хочешь? — взвизгнул Дыркин. — Да ты ему совсем и не понравилась. Разве это мужчина? Износился весь, как старый хомут. Он мне сам сказал: «Мне, говорит, на женщин смотреть противно, а Раиса, говорит, ваша — пучеглазая и дура». Так и сказал.

Но Растегин уже не мог далее слушать. Он ударил кулаком по стене и закричал: «Врет, врет, врет, врет!» Сразу голоса притихли, Александр Демьянович постоял еще и со стоном повалился на постель.

— У меня с Раисой условие подписано, что держу я ее до тех пор, пока сам не изменю с другой женщиной. Да-с. А ночное приключение — не что иное, как блажь. Завтра же она сама руки мне целовать будет. Чересчур полна стала, особенно в груди, вот ее идеи разные и одолевают. Сударь мой, мы, старики, вас насквозь видим: сегодня блажь, а завтра слезы. А я к Раисе моей привык и на новые приключения больше не способен. На любовь же смотрю широко и без предрассудков. И вам искренно желаю успеха, но только условие одно, по-китайски, — пообедал и все там прочее

оставил у хозяина, с собой ничего не унес, поняли? Погостите у меня недельку, и хорошенького понемножку. А Раису я не отпущу ни с кем.

Дыркин и Растегин сидели на лавочке в купальне, оба голые. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, порой она уносилась вбок и вновь останавливалась, переливаясь золотой пылью вытаращенных глаз... «Ах, Раиса, Раиса», — пробормотал Дыркин. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина, да он их и не слушал и поэтому невпопад спросил, потягиваясь:

— На какую сумму вам по векселям-то завтра надо платить?

Дыркин сильно потер себе волосатые ляжки, опустил на грудь седую голову.

— Тысяч на двадцать пять, — сказал он и, надув желтые сморщенные щеки, выпустил из них воздух.

Тогда Растегин начал торговаться. Дыркин отвечал:

— Нет, не могу, ей-богу не могу меньше. — И вдруг из-под морщинистых век его поползли две слезы. — О чем торгуемся, — сказал он, — я лишь займы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. А вы бог знает как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в щелочку да послушать, как вздыхают два любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.

«Фу ты, какой скользкий старикашка, — подумал Растегин, — нет того, чтобы начистоту». — и ударил себя по голым коленкам. Надо бы лезть в воду. Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади его крякнуло, холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь. Отбиваясь от него, Растегин крикнул:

— Пустите, вы меня потопите!

Но Дыркин, приговаривая: «Нет, я еще сильный, я еще сильный», — старался засунуть его голову под воду.

— Тону! — закричал Растегин и, уже задыхаясь, стащил с себя старикашку, добрался до мостков и

поспешно вылез. Дыркин же барахтался и плавал по воде, как паук.

— Это шутки, это все шутки,— повторял он,— какой вы сердитый! У нас всегда так балуются во время купанья. Вот намедни на меня Окоемов наскочил,— потом откачивали.

Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк.

В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису, она лениво шла, задевая рукой за кашки, обрывая листья; ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками; батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух.

С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.

— Пустите же,— проговорила она медленно и точно с досадой; мягкий ее рот так и остался полураскрытым.

— Пожалуйста, пожалуйста, я схожу с ума,— повторял Растегин.

— А мне какое дело. Ах, да пустите же!

Шепотом, кое-как, он объяснил, что с векселями покончено, что ему разрешено здесь остаться, что времени терять нельзя, что он и все шесть миллионов к ее услугам, что глаза Раисы (хотя и на вершок от его глаз, но все такие же спокойные) не глаза, а бриллианты, бериллы, изумруды и прочее, что у нее не рот, а «безумный цветок», орхидея и прочее, что он, Растегин, убит наповал, погиб, он раб, сошел с ума и прочее и прочее.

Раиса, наконец, освободилась.

— Вы мало папашку знаете,— сказала она,— в том-то и дело, что он меня ревнует, не дай бог; ничего хорошего ждать от него нельзя.

— Раиса, я готов умереть сейчас, вот здесь у ног.

— Это все говорят, миленький, а что-то мне видеть не приходилось, лучше уж и не божитесь, а вот мне большая охота отсюда уехать, богато пожить захотелось. Бога гневить нечего — лучше моего житья здесь нет, всего вволю, и жить просторно, и никто меня за дуру неученую не считает. А у вас в Москве, чай, скажут: «Вот вывез бабу»,— так бабой и прозовут. А здесь —

я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. А лежала я ночью и думала: охота мне мотором в Москве народ подавить. Уж не знаю, как и быть-то с вами.

— Раиса, что хотите, что хотите,— требуйте.

— Вот чего я хочу,— начала было Раиса, но вдруг оглянулась, вырвала руку свою из горячих ладоней Растегина и отошла.

По дорожке подбегал Дыркин, засунув большие пальцы в карманы чесучового жилета, рот его был перекошен и плотно сжат. Став перед Растегиним, он закричал визгливым голосом:

— Не доверяю, не верю. Чек, чек на руки сию минуту пожалуйста, и не на двадцать пять, а на пятьдесят, иначе милости прошу искать себе других развлечений.

Здесь же на садовом столике Александр Демьянович подписал чек. Дыркин повертел его, понюхал, поглядел на свет и убежал все так же бодро, заложив в жилет пальцы.

— Дедушка! — закричала было ему вслед Раиса, но он не обернулся. Она задумалась, потом пошла, сопровождаемая одуревшим Александром Демьяновичем, в конец сада и стала на плетень.

— Знаете что,— он к этому черту Окоемову поехал. Ах, мучитель, ах, тиран безжалостный! Уеду я от него, назло. Что за наказание! — с досадой сказала она, слезла с забора и, дойдя до скамейки, уткнулась лицом в руки, затем вынула платочек из-за шелкового чулка.— Хотела было я над вами только посмеяться, теперь сама вижу — вы очень милый,— она положила руку на затылок Александра Демьяновича и поцеловала его в губы.

Раиса была совершенно непонятная женщина. Растегин ей не нравился, и она решила, что недурно бы за такого выйти замуж; когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его и Растегина: одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, бог знает, до гробовой доски. Ей представилось, что хорошо бы прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми перьями, и чтобы за шофера сидел седой полковник, обезумевший от любви. Она даже видела ясно, как из-под

мотора вытаскивают голстую перееханную барыню с покупками. «А не лезь», — думала Раиса. Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить.

Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые, и все свое хозяйство Раисе, женщине деревенской, дочери писаря из соседнего села, представлялось невозможным.

Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз, обид же она сносить не умела; при этом он уж слишком поспешно выманил деньги у Растегина и, ясно, хотел устроить дебош при помощи Окоемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла.

Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстук, вытащила ее и стала полегоньку колоть Растегина в нос; он блаженно улыбался.

— Несчастный, — сказала она, — ну чего же вы ползаете по траве на коленках. Идите на конюшню, скажите лошадей закладывать; скорей бегите, а то раздумаю.

Растегин убежал. Раиса приколола булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крылечке, пригорюнясь, -- ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.

Внезапно Растегин появился из-за угла дома.

— Мерзавец кучер не дает лошадей, — сказал он взволнованно.

— И не даст, это папашкины штуки, — ответила Раиса и стукнула сердито по чемодану.

— Что же делать?

— А я почему знаю. Вот-вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, страсть!

Все же Раиса очень разгневалась. Она ушла бы теперь хоть пешком из дому. Пока они пререкались на крыльце и спорили, послышался колокольчик и топот бещено летящей тройки.

Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели не ожидаемые озорники, а Чувашев, стоя в коляске.

— Скорее, скорей,— закричал он, выпрыгивая и хватая Раису за руку,— ты ведь тоже едешь? Молодец баба! Я их версты на три обогнал. Едем прямо к дядюшке моему, Долгову. Туда они не сунутся.

Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашев сел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли за ворота, мимо изб, прямо в степь.

Небо заволокло, погромыхивал гром вдалеке. Молча сидела Раиса, опустив голову, завернувшись в турецкую шаль. Растегин привставал и оглядывался. Позади, над пригорком, появилась пыль.

— Гони, гони,— закричал не своим голосом Растегин, хватая кучера за воротник.

6

В темноте, в березовой старой аллее, медленно шли Щепкин и Долгов. Щепкин обнимал друга за плечи; он был сед, стар и сутул. Оба осторожно ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолкая, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молния. Щепкин глядел, как свет ее, проникая под листовые своды, заливал мгновенно пегие стволы берез и лицо Долгова; оно было тоже сморщенное, с длинными усами, со спутанной бородой и прищуренным от неожиданности глазом. Все это появлялось и вдруг исчезало, и гром носился раскатами над притихшим парком. И снова молния вылетела из нагроможденных туч; а вот три огненных столба быстро опустились до земли; вот с севера раздвинулось, раскрылось полнеба; но не было ни ветра, ни капли дождя.

— Представь себе, ведь я очень стар,— говорил Щепкин,— должно быть, я по рассеянности позабыл помереть, да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суеде. Посмотри,— он поднял палец, и в ту же минуту в небе возникли, разорвались, брызнули огнем и загрохотали два огромных шара,— все это лишь пустой эффект, но очень возвышает душу.

— Трахнет вот такой эффект в соломенную крышу — беды не оберешься,— сказал Долгов.

— Иногда есть у меня даже потребность поужинать с друзьями, выпить вина, но, конечно, если я имею

право на это. Но я никогда не мог оправдать ничего из своей жизни, не хватало дерзости. Ясно тебе? Для меня это ясно. Нынче минуло пятьдесят лет, как я ушел от Веры Ивановны. Странно, у меня до сих пор сомнение — хорошо ли я поступил тогда, пожертвовав моим и ее чувством? Я не жалею, а раздумываю, нужно ли было все-таки так пренебречь всем или оставить что-нибудь и для себя, доставить себе простое удовольствие, раз все пошло прахом. Нехорошо дожить до восьмидесяти пяти лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние, предаешь забвению и жалости все самое высокое. Ты пойми, вникни: у Веры Ивановны были красота и талант, а я был только владетель семисот человеческих душ. Я не мог увезти и заточить ее в деревне, лишитъ театра и города, я не имел права для своих удовольствий заставить работать семьсот человек, — каждый из них был такой же, как я. Ах, ты еще молод слишком, я тебя уверяю. В то время дворянство сознавало свои обязанности. Оно понимало, какую вину должно было искупить перед народом. Ни одного движения мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А если и делали что-либо по слабости, то очень раскаивались. Мы во всем каялись. Я сказал Вере Ивановне, что мой отъезд в деревню пусть будет первой уплатой долга; я думал, что она будет наезжать ко мне, а пройдет летъ десять, и совсем переедет. Она очень плакала тогда... Какая странная и милая женщина! Но все же она была у меня только два раза. Город ее соблазнил, в нем слишком быстро сгорают; а я, как старый хрящ, живу и живу, никому уже больше не нужный. А все — это гроза. Надо же было раздуматься! Посмотри, там тоже вечная борьба, и молния, и грохот. Мне представляются там темные и белые всадники, они поражают, топчут друг друга, гремят щиты о щиты, падают копья, — и нет победы никогда, ни на чьей стороне.

— Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало, и сейчас дождик припустится, уж это я знаю. Ах ты, господи, весь покос прогнил, — сказал на это Долгов, — ты прости, что я отвлекся, я слушал тебя внимательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужикам землю, больше того — пятьдесят лет работал на

них. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают... Ах, черт, кадку-то я не перевернул...

Последнее восклицание относилось к дождевой кадшке. Ее нужно было перевернуть и поставить под водосточную трубу. Чертыхнувшись еще раз, Долгов освободил плечи от руки друга и пропал между деревьями в темноте. Щепкин прислонился к березе и поднял голову.

Узкое, с горбатым носом и большими глазами бритое лицо его то появлялось в свете молний, точно каменное изваяние, то исчезало; начавший налетать ветер приподнимал седые волосы над его высоким лбом.

«Нет, нет успокоения,— думал Щепкин,— быть может, так до конца и нужно быть смятенным. Но, господи, нужно мне, хочется ничтожной оплаты, хотя бы минуты высокой радости».

Тяжело ему было нынче еще и оттого, что на днях состоялись торги на последние оставшиеся семь десятин земли и полуразвалившуюся усадьбу; неизвестно было, где теперь доживать дни,— никто ведь не возьмется кормить старого, негодного мерина Урагана да еще более древнюю дворовую собаку Жука.

Неподалеку завозился и несколько раз шепотом чертыхнулся Долгов; Щепкин опустил голову и улыбнулся; он очень любил своего друга, хотя и полагал, что у него чего-то не хватает,— крепости ли нет, или мало веры, или слишком он издерган и вместо главного занимается часто пустяками.

Действительно, идет ли, например, Долгов в контору к мужикам,— на середине двора остановится и побежит в клеточных своих брючках на конюшню, но, не дойдя до конюшни, уже лезет через забор и, глядишь, изо всей силы тащит репейник из цветочной клумбы. И все это делает, негодуя на себя, угрызаясь. Поэтому главным душевным состоянием его было «самоедство». В кабинете у него на столе, между ворохом книг, счетов, записных книжек, мундштуков, ручек, карандашей и прочей мелочи, стоял хрустальный стаканчик, и в нем — дедовское гусиное перо. Этим пером дед сводил счета — копейка в копейку, ничего не забывая.

Каждый раз, глядя на это перо или гусей, что прохаживаются по кудрявой мураве, чертыхался Долгов;

понимая, что сельское хозяйство возможно только при отлично оборудованной бухгалтерии.

Но едва он, надев очки, принимался за приходо-расходные книги и счета, как от ничтожной причины — например, при чтении записи: «Хомутов отдано в ремонт шесть штук рабочих» — мысль его незаметно перескакивала на иной предмет, и Долгов силился вспомнить, по какой линии столбовые дворяне Хомутовы с ним в родне.

А спустя час он уже заставлял себя за чтением мемуаров; и вновь с пущим угрызением приходилось повторять, что без правильно поставленной бухгалтерии сельское хозяйство продолжать нельзя. Мылся ли он в уборной, копался ли в бельевом шкафу, или тщетно старался поздно ночью раздеться и лечь спать — все равно приходилось чертыхаться, понимая, что на пустяки времени уходит уйма, а на нужное и должное его нет.

До сорока семи лет он так и не собрался жениться, хотя в этой области были у него самые жестокие конфликты; девица Рубакина в прошлом году приехала к нему сама и потребовала брака. Долгов, очень этим смущенный и озабоченный, принялся ее благодарить (они гуляли в саду), но на середине одного плохо связанного предложения заметил, что клумба с петуниями не полита, и убежал за лейкой; на полпути он уже отвлекся другой идеей — о выпущенных в огород телятах, побежал на огород, и далее — пошло цепляться одно к одному, как обычно; он вернулся в сад только к вечеру; девица Рубакина, глубоко уязвленная, давно уже и навсегда покинула его усадьбу.

— Прости, пожалуйста... Я продолжаю тебя слушать внимательно... Эта проклятая кадушка куда-то закатилась, — проговорил Долгов, появляясь из темноты, — у меня в каретнике течет... Нет, я не то хотел сказать. Понимаешь — Ивановка горит. Надо бы послать туда машину... Пойдем, пойдем...

На заднем крыльце стояли бабы и рабочие, на крыше торчали мальчишки, все глядели в сторону, где, за плетнем и гумнами, над землей танцевали красные языки пламени; не было видно ни дыма, ни зарева, казалось, что здесь, в ста шагах за ригой, появилось это бесшумное пламя.

Вдруг пошел сильный дождь. Мальчишки закричали на крыше, бабы заохали. Долгов влез на кадушку и повторял: «Ай, ай, ай, вот они, соломенные крыши»; затем он соскочил и убежал делать распоряжения, крича, бранясь и путая имена рабочих.

Дождь пошел сильнее; за его летящей сеткой огонь казался более красным, и вдруг появилось сияние. Замолкшая было гроза снова полыхнула над пожарищем, загрохотала, и вот из огня поднялся высоко широкий язык и рассыпался искрами. Повалил багровый дым; появились тени на траве. Бабы начали голосить. Вдалеке на дворе бранился Долгов, сидя на бочке.

Щепкин отвернулся и пошел в дом: горело его село, на которое он положил всю свою жизнь; кончался последний акт комедии, догорали карточные домики, и опускался на них дождевой занавес. Щепкин прошел в летнюю, маложилую гостиную, сел на кожаный заплесневелый диван, прислонился щекой к нему и в темноте и тишине натужно, с болью, заплакал.

В то же время Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка: догорали избы, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась еще одна изба — крайняя, и на ярко освещенной с одного бока деревянной колокольне били в набат.

Бочка скакала по сплошной багровой воде вдоль плетней. Вдруг неподалеку послышался отчаянный крик о помощи. Долгов соскочил в грязь, приказал работнику гнать на пожар, сам же побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы, место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озеро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых лошадей и перевернувшийся экипаж; около него возился человек в чапане, другой стоял и кричал: «Помогите!» На кочке, в воде, сидела женщина.

— Что такое, что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где дорога. Черт знает, что такое! — прокричал Долгов, подбегая.

Человек, кричавший о помощи, подошел к Долгову и, не попадая зуб на зуб, проговорил:

— Я — Растегин, Александр Демьянович, дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать и очень сердит-

ся; с нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.

Долгов наклонился над женщиной, сидящей в воде, и воскликнул:

— Э, да это Раиса. Опять приключение? Вылезай, вылезай, нечего кобениться. Отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу, кучер дорогу знает...

Раиса от злости продолжала молчать. Ее вытащили из воды, посадили в экипаж и поехали шагом вдоль горящего села в Долговку.

7

Долгов остался на пожаре; Растегин и Раиса только за полночь добрались до его усадьбы. Чувашев же пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича, потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул.

Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда принесли горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, разделась и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелестей, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его не переставая ругала подруга, и лез то с медным тазом, то норовил поцеловать ее в шею, за что получил по щеке.

Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой, думая: «Вот странные люди, даже вода не охладила у них пылу».

Пить чай явился один Растегин в ватном долговском пальто и валеных калошах; Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню, легла на его постель и сказала, что не вылезет из нее, пока ей не сошьют нового платья.

— Что вы, мой ангел,— сказал ей Растегин,— откуда я вам достану здесь платье, нам бы только до Москвы добраться.

— А мне какое дело, доставайте, где хотите, только модное,— ответила Раиса со злостью, и когда было он полез ласкаться, стукнула его коленкой, сказала: — Не встану — год здесь пролежу, и эту рухлядь Долгова еще полюбовником своим сделаю,— затем расшвыркала подушки и легла к стене лицом.

Все это Александр Демьянович объяснил Щепкину за стаканом чая; рассказал также историю похищения Раисы, вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги; они скакали по степи, пока земля не осветилась заревом пожара; около каких-то деревьев экипаж въехал в воду и перевернулся, все полетели в грязь; Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.

— Одного я боюсь, что Дыркин и Окоемов явятся сюда, прибьют меня и увезут Раису; я всего жду от здешних людей,— сказал Растегин, боязливо оглядываясь на окно, за которым в темноте шумел дождь по листьям.

— Вы, конечно, имеете резон опасаться некоторых из помещиков,— ответил Щепкин,— современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков — крупных простых кулаков и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов, а есть такие, что принуждены продавать своих любовниц, чтобы свести концы с концами; раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание хотя и поспешно, но не лишено основания.

Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу; если бы не поздний час, не потрясения этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.

Александр Демьянович ответил ему, зевая:

— Все это верно: теперь купец пошел — большая сила... Но не в том забота! Ах! Женщины, женщины, знаете! Ну откуда я Раисе платье возьму?

В это время в столовую вошел Долгов в одном полотняном белье, только что смененном; расправив усы, он сел перед налитой чашкой, хлебнул из нее, сказал:

— Сгорело двенадцать дворов; ах, черт, пятый пожар с апреля месяца.— Затем принялся осматривать Растегина, повернулся на стуле и внимательно оглядел своего друга, спросив: — Поссорились, что ли?

— Я приустал немного, что-то у меня с сердцем, я, знаешь, пойду,— ответил Щепкин и вышел, сильно сутулясь.

— Смешной старик,— сказал Растегин.

— Нет, не смешной,— ответил Долгов,— а вот вы смешной.

— Я просто в преглупом положении: заехал с женщиной в незнакомый дом, едва не потонул, не сломал шею, какие-то дикие люди за мной гоняются; а вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Чего считать! На деньгах стоим; а только здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!

— Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным? — спросил Долгов.

— Да, разговор у нас был жалкий, верно.

— Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда,— сказал Долгов, опять залезая в огромную чашку с чаем,— мы вряд ли пойдем друг друга; я стар, Щепкин еще старее; лучше мы уж погибнем при своем негодном, а вы живите... Что вам нужно — самое необходимое?

— Платье Раисе нужно да лошадей до вокзала, чего же еще...

— Ах да, платье... К несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты... А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами; я думаю — не разберет Раиса, было бы шелковое.

— Боже мой, да это все, чего я искал! — закричал Растегин.

8

Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листьях опутавшей ее повилики еще горели большие капли. Поваленная пшеница поднималась, а на мелком подорожнике, затененном стеной хлеба, оставались сизые полосы от шагов.

По мокрой траве, часу в восьмом утра, Щепкин шел пешечком из долговской усадьбы в свою.

На нем была люстриновая разлетайка и помятый картуз, из-под которого до плеч висели седые волосы. Наклонив худое и горбоносое лицо, он поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутое в них облако, на по-

лосы хлебов, на зеленые конопли вдалеке и за ними — соломенные крыши Ивановки.

Много лет видел он все это и каждый раз с новым очарованием поднимал глаза, и в него словно вливалась вся эта красота вечным и разумным покоем.

И каждый раз казалось, что вот еще мгновение — и вдруг исчезнет последняя преграда, и, хлынув в него потоком, солнце, небо и влажный свет земли растворят его старое, ненужное тело. Между ним и этими полями осталась последняя тонкая преграда. Она еще мешала радости последнего покоя, будто земной путь не совсем был пройден, осталось совершить какой-то последний утомительный долг.

«Вот что значит провести бессонную ночь,— думал Щепкин, входя в конопли,— что это за последний долг? Какие у нас долги? От излишней гордости думаем, что должны кому-то; упал дождик, и просох, был день, и нет его, как и я...»

Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, понюхал и поглядел налево, где за колокольной начиналась куща барского сада. Здесь прожил он семьдесят лет, и за все эти годы так же стояли конопли, за ними крыши, колокольня и зеленый сад. И ему представилось, будто его жизнь пронеслась над этими местами, как вчерашняя гроза,— прогремела и ушла; земля же, конопли и крыши остались теми же.

«Все-таки народ сильно изменился,— думал Щепкин,— теперь мужичкам наших чувств не нужно, без них обойдутся, умные стали сами и скрытные; деревня — как маховик: только поверни ее, потом не остановишь».

Он вышел к плетням и повернул на широкую, пустую сейчас, улицу, к церковной ограде. По свежей грязи бежали мальчишки, ржали и брыкались. «Старый тетерев, старый тетерев!» — закричали они.

«Действительно. я похож на старого тетерева», — подумал Щепкин и поклонился Антипычу, рыжему мужику в розовой рубахе, занявшему плечами и головой все окошко в избе.

— Здравствуй, батюшка барин,— сказал Антип, почесал бороду и перебеднился весь в окошке,— а мы погорели малость, беда такая, уж я до твоей милости —

в саду лесину одну присмотрел, срубить бы ее, а то зря пропадает.

Антип был мужик богатый и первый кляузник на селе; он постоянно клянчил всякую малость у Щепкина, а когда не клянчил, то судился, и он же был главный виновник теперешних торгов. От пожара Антип не пострадал ничуть и клянчил сейчас лесину — так, потому только, что увидел барина...

— Стыдно тебе, Антип, вот что, — проговорил Щепкин, затряс головой и постучал тростью. — Подожди, скоро все твое будет...

Он быстро пошел вдоль изб и в переулке увидел пожарище; ему не было ни досадно, ни больно, как вчера.

— Мужик прав, ему нужна лесина, а мне не нужна, — повторил он, по обычной своей привычке, вслух; но все же давешний покой пропал, и была потребность хоть немного посетовать.

Через калитку в каменной изгороди Щепкин прошел через аллею на круглый двор. Посредине его, обнесенные чугунной решеткой, поднимались старые пихты и ели; между стволами просвечивало кое-где стекло разрушенных оранжерей.

Вдалеке полукругом стояли ветхие службы, а направо — деревянный некрашенный дом в два этажа. Окна были неровные, одно выше другого, только три внизу и два вверху были раскрыты, остальные защиты досками, замкнуты ставнями. Парадная дверь открывалась прямо в бурьян, в нем была протоптана узенькая тропинка.

Около двери, обшитой рваным войлоком, стояли Ураган — карий, в шишках, старый мерин, и каштановая собака. Оба они глядели на дверь, из которой каждое утро выходил хозяин, вынося сахар и хлеб. Увидев же Щепкина подошедшим с улицы, мерин и собака удивились. Ураган замотал головой. Жучка широко зевнула.

— Вы уж меня, дружки, извините, — сказал Щепкин, — задержался я по случаю грозы.

Он вынул из кармана сахар и хлеб, отдал их собаке и мерину. Затем еще раз извинился и вошел в дом.

Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар; остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и да-

же полезным. От мяса же отвык давно. Бывая у Долгова и не желая обидеть, он ужинал иногда, но каждый раз после этого страдал. Одно его заботило — зимние холода, и каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав большую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных глухих шкафах, ключи от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.

Пройдя сейчас в библиотеку с окнами в сад, он опустился в кресло, вытянул уставшие ноги и положил руку на кипу журналов, заваливших круглый столик.

Здесь были — «Современник», «Сын отечества», «Москвитянин», «Вестник Европы», «Неделя», Герцен, Спенсер, Бокль, Миль, Адам Смит и прочие и прочие хорошие, идейные, верные книги; в них было видно, как за несколько десятков лет бурлящий в идеальной и романтической пустоте дух человеческий осел, наконец, в виде практического и трезвого смысла... Щепкину казалось, что вся его жизнь — мечты, отречения и труд — запечатлены в этих кипах пыльных книг. Он сам пережил и осуществил мечты сороковых годов, и горячую очистительную работу шестидесятых, и тусклое, бездеятельное томление восьмидесятых, и новое, как откровение, ясное, как кирпич в руке, — учение Карла Маркса... Он два раза беседовал с Герценом и портрет Михайловского всегда держал на столе. Трогая и перелистывая старые книги, он точно оглядывался на себя, будто весь долгий путь его на земле был всегда с ним в этой круглой, уставленной высокими шкафами, покрытой пылью комнате, освещенной солнцем сквозь темные ветви лип.

Увлечение Марксом окончилось у него неожиданно жестокой тоской. Щепкин счел это слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, почувствовал, что нельзя просто лечь в землю, забыть все, покончить со всем: слишком много было прожито, чтобы все это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. В сущности, живя для других, он жил для какой-то

высшей цели, и вот то, что находится в этой цели,— больше всех общественных идеалов, больше, чем вся земля, и это не хочет и не может умереть.

Возмутился Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое значение. Он принялся читать те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.

Сейчас, поглядывая то в окно на запущенный и еще мокрый сад, то на милые книги, то на желтую и костлявую руку свою, лежащую на «Сыне отечества», он думал, что все это придется оставить и почти перед концом приняться за утомительные заботы о желудке, о мерине и о Жуке. «Вот оно, барство, и сказалось,— думал он,— как его ни вытравай — всегда подгадит. Всем хочется отдохнуть, да не всякому отдых нужен, мне же он, пожалуй, и вреден. Вот я все думал — что мне нужно сделать последнее; теперь знаю — принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться из-за идеи всякому приятно, а вот безо всякой идеи поступлю на двенадцать рублей жалованья, вот это так! В пастухи могу наняться, тогда и Жук и Ураган будут пристроены...»

Но все же ему было обидно, хоть и сдерживался он и попрекал себя, сколько мог...

На дворе в это время залаяла собака и послышался хруст колес по аллее. «Кому бы это быть?» — подумал Щепкин.

Он очень любил гостей: в каждом новом человеке видел единственные, неповторяемые качества, искривления души, новую, всегда бесконечно привлекательную форму. Поэтому он бывал благодарен заехавшему к нему, старался сделать приятное, подарить что-нибудь из вещей и каждый раз, извиняясь за невозможность угостить, трогал холодный самовар и говорил: «Ах, вот досада».

Жук перестал лаять, хлопнула вдалеке дверь. Щепкин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека, сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.

— Где у тебя кованый сундук на трех замках стоит, вот мы зачем приехали,— проговорил Долгов,— я видел его лет десять назад; иди, иди, показывай!

Щепкин стал извиняться за беспорядок, припоминать, где может стоять сундук...

Вдруг Растегин воскликнул вне себя:

— Послушайте, у вас — музей, вы ничего не понимаете!

— Да, это еще крепостные работали, — ответил Щепкин, — вот это Федор, а то сделано Степаном, о нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь; труда на него положено много, пользы — никакой...

— Варварство! — завопил Растегин. — Целая культура у него в дому гниет, а он говорит о пользе, да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам!

Щепкин испуганно поглядел на Растегина.

— Как, это кресло вам дороже освобождения крестьян? — проговорил он и потер, точно согревая, ладони.

— Фарфор, черт меня возьми, екатерининский: Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод! — уже вне себя вопил Растегин. — Слушайте, я все покупаю, давайте цену... Поскорей показывайте платя, фарфор, бронзу, кружева, плачу за все. Боже мой, это павловский стиль, смотрите, чистая Елизавета...

Его повели в чулан, где он со стоном схватился за голову; открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платя, платки, кружева, истлевшие туфельки; вскрикивая, взглядывая на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обозвал Щепкина телятиной и еще чем-то, — завернулся в персидскую шаль.

— Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену — десять тысяч, пятнадцать, только — чтобы расписка была, чтобы видели, а то, знаете, у нас в Москве ничему не верят...

— В сущности говоря, эти вещи не продажные, это все моей матушки вещи, — заикнулся было Щепкин.

— Двадцать тысяч! — воскликнул Растегин, вытаскивая чековую книжку; при этом он так наступал на хозяина, что тот прошептал, испугавшись:

— Ну, хорошо, хорошо.

Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платя, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы,

затянутой паутиной; чек на двадцать тысяч дрожал у него в руке.

«Фу ты, как все это скоро,— подумал он,— что же мне теперь делать с этими деньгами?»

Он подошел к пыльным шкафам, где стоял фарфор; с удивлением, точно первый раз, поглядел на мебель; в раздумье остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.

«Ну, конечно, все это Долгов подстроил,— подумал он,— но зачем же столько было дарить, мне достаточно было и тысячи рублей».

Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и нудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чаек за чтением «Крестового календаря».

— Да, жить можно в свое удовольствие,— проговорил он,— еще лет десять, пожалуй, отмахую! Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему полсотни на семена, а дети малые ручку будут у бабушки целовать. Где бишь я об этом читал? Именно вот про такого старичка приятного,— всю жизнь он трудился и не роптал, а на склоне лет получил от господ бога милость и благодеяние на радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам! И то, отдам! Что-то уж очень противно.

Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы и, подмигнув Урагану, отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда, и птицы — иволги и дикие голуби — пели в саду райскими голосами.

9

Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами,— скакал во весь дух к железнодорожной станции.

Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях, он поручил это сделать Чува-

шеву, сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда.

Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегин вертелся на подушках, вне себя от нетерпения и радости. Поездка удалась, как он и не думал; сердце у Раисы прошло, она была даже приветлива, только иногда глаза ее неподвижно останавливались на спине кучера, но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, наклонясь к маленькому уху, он спрашивал:

— Скажи, моя великолепная, чего тебе еще хочется?

— А я сама не знаю,— отвечала Раиса.

— Ты моя мечта, ты мой эксцесс,— шептал он ей в губы.

— А мне так не нравится, как вы меня называете,— отвечала она, отворачиваясь,— зовите лучше Раисой!

— Когда ты будешь моей?

— Ишь как торопитесь! Когда захочу, тогда и буду.

— Я не доживу до этого дня.

— Жили до сих пор, ну и доживете. Чево́й-то, как комары кусаются.

Комары действительно кусались; самые сильные из них и смелые поспевали за тарантасом, впивались в щеки и лоб, пищали под самым носом, на морщинистой шее у ямщика сидело их восемь штук.

В острых разговорах, в допытывании взаимности незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо; точно вымытые вчерашним дождем, появились на нем звезды. Невдалеке, в темном поле, показались желтые и белые огни станции. Тарантас загромыхал по булыжнику, мимо крытых дерном погребов, и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, изо всей силы зевая.

— Бери вещи, живо! — крикнул ему Растегин, высаживая Раису.

Железнодорожный юноша посмотрел и ушел, ничего не сказав. Александр Демьянович покричал сторожа, возмутился, но все же ему самому вместе с ямщиком пришлось перетаскать ящики из тележки в залу I—II класса.

Здесь между двух открытых окон стоял дубовый диванчик, перед ним круглый стол, покрытый черной кле-

енкой. На нем горела лампа с круглым матовым колпаком; валялась шелуха от воблы, семечек и крошки хлеба. В глубине, на прилавке, спал какой-то мужик, завернувшись с головой в полушубок. Раиса прилегла на диванчик, Александр Демьянович сел напротив нее к столу. В открытые окна влетало и улетало такое множество комаров, что воздух звенел от их писка. Раиса медленно натянула на лицо себе платок и, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться. Растегин принялся было утешать, но она ответила: «Оставьте меня, пожалуйста»,— и он вернулся на место, но сейчас же вскочил: комары пропихивали голодные носы сквозь пиджак, а ноги горели, как обожженные.

Разыскивая начальника станции, Александр Демьянович попал в небольшую комнату, где тикал телеграф и стояли два красных аппарата вроде турецких памятников, у каждого из середины торчала небольшая трубка с раструбом.

— Эй, где тут начальник станции? — громко спросил Растегин,— он стоял посреди комнаты и прислушивался. Вдруг одна трубка заревела басом: «У-у-у-у», а другая заквакала, как лягушка. В пустой степи какие-то трубки; Растегину стало не по себе.— Эй, сдохли бы вы все, что ли! — закричал он злым голосом. Наконец из маленькой двери вылез толстый, небольшого роста молодой человек в голубой расстегнутой рубашке; сильно почесывая волосы и щурясь на свет, он подошел к аппаратам; красные щеки его, губы, подбородок и живот были такие толстые, точно их нарочно оттягивали от нечего делать. Растегин спросил, когда же будет, наконец, поезд.

— Поезд? — переспросил молодой человек.— Поезд, значит, опоздал. Значит, это, как его...— Он покряхтел, затем обиделся и сказал: — Что вы хотите? Сюда посторонним лицам вход воспрещается. На семь часов опоздал. Ах ты, пропасти на них нет,— и он опять ушел в маленькую дверку.

Растегин в отчаянии вернулся к Раисе.

— Так ты за этим меня сюда привез? Комаров кормить? — сказала она ему из-под платка.— Ах ты бессовестный!

В тоске Александр Демьянович то вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на перрон. Здесь было еще гаже,— темно, сыро, далеко до рассвета, в небе торчали все те же звезды, на земле блестели две пары рельсов. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожки, хоть бы накричать на нее со злости.

Часу во втором утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящичков, просматривал старый альбом с незнакомыми фотографиями давно умерших людей. Услышав колокольчик, он сказал:

— Раиса, голубушка, приободришься немного. Вот еще кто-то едет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом.

Неожиданно Раиса не только приободрилась, но, словно с большим волнением, приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился и спросил поспешно:

— Что такое?

Раиса опять закрылась платком, вся вздрагивая, но, должно быть, не от слез на этот раз, а от смеха. Колокольчик прозвенел близко, бешено зазвякали подковы, затрещали колеса. Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Окоемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дыркин.

— Палашка,— закричала Раиса со смехом,— я здесь, ей-богу! — Она сидела на диване, упершись руками в коленки и смеясь во весь рот.

Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Окоемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот, встряхнул один раз, спросил:

— Ты будешь к нам ездить? — потрянул другой раз, повторил: — Будешь к нам шататься, чучело бритое? — потрянул в третий и, ничего более не прибавив, повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона...

Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел, как в одном освещенном окне обнимались то Дыркин с Раисой, то Окоемов обнимал

Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станции в голубой рубашке.

Затем через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все шесть ящиков с фарфором и старинными вещами. После этого зазвенел колокольчик. протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затихли. Небо засерело у краев и зазеленело. Александр Демьянович, опустив голову, сидел на ящике, ожидая поезда.

«Попадись теперь мне Опахалов, мазила несчастный,— думал он,— я ему покажу двадцатые года! То же — стиль выдумали, бездельники проклятые!»

Издали за лесом за клубился белый дымок, и долетел протяжный свист поезда.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову,— и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение — долгая и опасная поездка за границу — обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком,— все это были вестники чудесных дней (они наступят — это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурыми девочками и няней-японкой,— семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед—директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом заметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидел ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать,

куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка.. Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее... Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлечься на мягких подушках вагона, в отдохновении и бездельи следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза,— у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она от-

ветила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любопытства, но внимательно, — мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, огибает север Норвегии и быстро растет; у Мурманна она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы, — и подняла на него мрачные ясно-серые глаза. — Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

— Отчего так? — затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу. — Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. — Я ненавижу Россию, правда, правда, — и она засмеялась, держа не донесенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено, — говорила дама, — если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в

жилетном кармане; существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно склонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта,— уж, конечно, не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожой. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность..

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен,— и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: — Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это — не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немогло. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика,— и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушные своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, по-

ставила ногу на решетку шелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость,— ответил Никита Алексеевич добродушно.— А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали? — спросила дама, немного слишком поспешно...

— Что вы так... для забавы...

— Я — одинокий человек, — помолчав, проговорила она и опустила глаза,— мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно.— Она передернула плечами.— Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь...— Она грустно улыбнулась.— Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдете.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан — весь ее багаж,— усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Шелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки,— сказал он,— встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекастиполя. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь,— проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы,— сказала она.

— Да, вы правы.

— Побледили от шороха юбки Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили,— она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком.— Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо.— Никита Алексеевич рассмеялся.— Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблук потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с норовом»,— и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том,— сказал он душевно,— я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя,— попробуй выстрели

в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так размахнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы подаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите», — на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

.

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен.

Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

.

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная. все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет

ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва свещающийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов вгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стишки даже читал... Фу!

Он крикнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее, — крикнул он, — здесь сугроб, — и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала, — проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя: — Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой, чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», — подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» — и сейчас же шла впереди него, придерживая накиннутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство конечно... — прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно опустила.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольсти-

тельнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза — пропал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышинном жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас.— Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня.— Положите пиджак,— сказал он огрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

— Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шепотом:

— Спасибо...

— Подождите,— резко перебил он,— я вас не пущу; сами понимаете — не я, так другой попадетсЯ. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

— Зачем вы ввали?

— Я не ввали... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным голосом она проговорила:

— Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки, — она глотала слюну...

— Вы не одна, с вами спутник? — спросил он. — Она кивнула. — Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашлявшись, он сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто — ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!..» Бормоча и спотыкаясь, он пошел подальше от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйста, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексеичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон

горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другою шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидал знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба, — так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиною о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатило по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон; дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

.

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса, фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетавших лебедек, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпильки кипарисов, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедек, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе

с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степановной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и рей клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие ровные гучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится,— думал он,— либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику... «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала,— до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч. залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще

больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах за-
жгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от
холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, иг-
рали в домино да сердитый господин в очках пил виски,
держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал
журналы, покосился на сердитого господина, боровшего-
ся с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив
шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйста за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь
за медную штангу, — и вдруг почувствовалась качка, и
головокружение, и духота. — Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горнич-
ной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он
увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном рас-
терзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голо-
ве ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно
свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю, — проговорила она хриплова-
тым голосом, — сядьте в ноги. Я хотела вас еще раз
видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу
у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ноги, держа шапку, про-
говорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не
жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно
побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза
ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему
документы. Да, да, — она подняла руку и погрозила, —
я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не
я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь,
вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Ники-
та Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщина, — сказал
он, — я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

— Вы не смеее так говорить о любви.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово.— Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав.— Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну прощайте,— сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер,— он дрожал и вертелся у нее в пальцах,— приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

— Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

.....
Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробиралась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» — пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк,— и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прошу. Когда вам понадобятся деньги — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

МИЛОСЕРДИЯ!

1

Когда после супа подали горошек, Софья Ивановна сказала, что больше ничего не будет, и ее припудренный носик, ушедший в щеки, глазки, когда-то хорошенькие, теперь совсем круглые и выцветшие, прядь волос, висящая из прически,— прядь, когда-то непокорная, теперь просто непричесанная,— все это задрожало в негодовании и в страхе непонятого будущего.

Владимир, гимназист, младший, с еще детской кожей, испачканной чернилами, взглянул на мать и покорно взял тарелку.

Николай, старший, тоже гимназист, усмехнулся и дернул костлявым плечом. Его большой нос, уже лоснящийся, и тщательно приглаженный пробор, и жилистые, почти мужские руки, и длинные рыжие глаза выражали полное недоверие и семье и всем вообще пережиткам, еще таящимся в таких затхлых углах, как квартира присяжного поверенного Шевырева, что по Сивцеву-Вражку. Николай взял горох, сказал: «Благодарю, мать», и съел его со вкусом.

Сам Василий Петрович сидел, наморщив большими складками лоб, и, не спеша, с точностью, повертывал в изящных пальцах стеклянную подставочку. От гороха он отказался, задумчиво покачав головой. Ему было все теперь безразлично: и испуганная глупость Софьи Ивановны, которая, спустя девять месяцев революции, продол-

жала по всякому поводу восклицать, сжимая полные ручки: «Ужасно, послушайте, это же ужасно!» — словно где-то еще в пространстве маячила смущенная фигура попранной справедливости; безразличны рыжие глаза и самоуверенная усмешечка Николая и вялый и безвольный Володька.

Семья, сидевшая за обеденным столом, между бûфетами из мореного дерева, была обломками когда-то хорошо оснащенного суденышка; подхваченное зловещим ветром, оно заплясало на одичавших волнах, потеряло руль и паруса и выкинулось на мель.

Сейчас сидели на мели, — это всем было ясно.

Вне всякой связи с предыдущим, Софья Ивановна покраснела и, отодвинув тарелку, сказала:

— Володенька всегда был плох в орфографии, а с этим новым правописанием просто ужасно!

В ее руках появилась откуда-то снизу тетрабочка; она порывисто перелистала ее. Володя с сожалением видел, что тетрадь помята в судорожной материнской ручке и сейчас будет замазана соусом. Василий Петрович пожал плечами, подумав: «Наплевать». Николай, вычерчивая вилкой на клеенке буквы, сказал:

— То, что тебе кажется ужасно, мать, — через десять лет будет не ужасно. А ужасно то, что мы безо всякого здравого смысла расходует время и память на пустяки. Это мое мнение.

Василий Петрович быстрее завертел подставочку. Николай бросил вилку и осторожно почесал пробор.

— Люди, переставшие расти физически и умственно, судорожно цепляются за всякий пережиток, хотя бы он был совершенно глупый.

На это Василий Петрович отвечал:

— Ты осел.

Но цели не достиг. Сын сейчас же выговорил с большим удовольствием:

— Благодарю, папа.

— Перестаньте, боже мой, как это ужасно!

— А я говорю, что он уже давно наглый осел!

— Я в этом не виноват, папочка.

— Виноват!

— Колечка, не спорь с отцом. Василий Петрович, Коля сказал только свое мнение...

Выпучив на сына большие глаза, Василий Петрович сильно барабанил пальцами; кровь прилиwała и отлиwała от его щек.

Вошла с чашками кофе горничная на таких высоких каблуках, что ноги ее точно не сгибались; поняв, что ссорятся, удовлетворенно поджала пухлые губки. Софья Ивановна сказала поспешно:

— Придется пить с медом. И говорят — меду совсем не будет.

Молча выпили кофе. Обед кончился. Гимназисты ушли: Володя — медленно, точно тянулся на резинке, Николай — решительными шагами, хотя было очевидно, что всего-навсего завалится на диван с книжкой. Софья Ивановна потопотала где-то по комнатам и затихла. Василий Петрович пошел в кабинет, закурил и стал у окна.

Стоял ноябрь тысяча девятьсот семнадцатого года, холодный, страшный. За мутноватыми стеклами неохотно падал редкий снег. Крыши, покатые, длинные, крутые, устланные белым снегом, во множестве уходили до мгlistой полоски Воробьевых гор. Тени становились синеватыми, сумерки застилали очертания. Летали галки, прощаясь с белым светом, пронеслись у самого окна плотной стаей и рассыпались, взмыв в вышину, точно их швырнули.

Напротив, на гребень крыши, рядом с трубой, села ворона, такая большая, что казалась почти с трубу, и, перегибаясь, стала кланяться, открывать клюв, — каркала. «Вот разжирела ворона, должно быть ей лет под пятьдесят, не меньше», — подумал Василий Петрович.

Среди этого угасания, когда на крыши и улицы, на застывающее от тоски сердце неохотно падал снег, хороня и город и землю, как похоронил уже не один город, не одно царство, — в эти сумерки жирная, головастая ворона, похожая на переодетого черта, утешала немного Василия Петровича: все-таки что-то еще осталось от жизни.

Он закурил вторую папироску и стал ходить по ковру. Делать было нечего.

Делать было нечего не по его вине, конечно. Окончательно нечего делать, и за последнее время, с горькою усмешкой, Василий Петрович решил следующее:

— С юности я воспитывал себя для общественной жизни, мечтал стать полезным членом общества. Мои планы рухнули, мои способности и знания не нужны. Я вышвырнут из общественной жизни. Будем жить для себя! Вы этого хотели? Вы этого добились! Превосходно!

Это был вызов. Решительно порвав со старым, Василий Петрович обратился к самому себе, но и тут неожиданно получил щелчок.

Оказалось, что «я» Василия Петровича, некоторая первоначальная сущность, ему одному принадлежащая, пребывающая в его упитанном теле, одетом с утра в синий пиджак и золотые очки,— не признаваемая Дарвином, а тем более всей этой непонятной дьявольщиной, происходящей в стране,— душа Василия Петровича оказалась смятенной и малой до жалости. Не душа, а эмбрион.

Оставленный сам с собою, Василий Петрович растерялся. Действительно было из-за чего: культурный, умный, значительный человек превращался в пар, как снежная баба. Знания, воспитанность, вкусы, идеи, нравственные задачи — все это оказалось ненужно, даже враждебно сегодняшнему дню, даже преступно, так же, как год тому назад казалось преступным и враждебным отсутствие этих качеств.

Это значило, что эти качества относительны,— пар. А сущность, неизменная и вечная, та, что отличает Василия Петровича от всех других людей, была, как уже сказано, в зачаточном, почти полудохлом состоянии.

Его сущности не хватало: зубов и когтей, чтобы защищаться, отваги, чтобы быть безрассудной, и хитрости, чтобы вовремя прекратить безрассудство, мимикрии, чтобы, меняя цвета и форму, прятаться от опасности; не хватало зоркости, ловкости, быстроты и, главное, звериной, непоколебимой, пышущей жаром любви к себе, чтобы жить.

Он стиснул зубы: нужно бороться. Борьба за самого себя! Борьба во имя самого себя!

Он опять остановился у окна. Вдалеке в большом доме светом заката пылали, точно полные углей, множество стекол. Два купола Христа-спасителя протянули над городом два жарких луча.

И там, и там, между крыш, загорались иголки и луковки церквей.

Скрестив на груди руки, мрачный и нахмуренный, Василий Петрович глядел на город. Отсвет заката, ползя по стене, коснулся его лица, и лицо стало зловещим и багровым. И головастая ворона, казалось, двусмысленно кивала ему в окно с мерзлого сучка.

2

Софья Ивановна, сидя в гостиной на неудобном атласном креслице, под большим кружевным абажуром, штопала белье. Настали такие времена, что приходилось не только штопать, а выгадывать лоскутки, даже самые маленькие. Ее пухлые пальчики проворно втыкали и вытягивали иголку; время от времени она поднимала голову и оглядывалась.

На стене висели эстампы в дорогих рамках, в углу — мраморный бюст Карабчевского, патрона дома, карельская мебель — под старину, с бронзой, рояль, прикрытый занавесом из парчи. Все это было знакомо, дорого, пережито. И все же сейчас было что-то странное во всем, дикое.

Столик с инкрустацией перестал быть просто редким столиком, — он, словно исподтишка, четырьмя своими ножками норовил лягнуть революцию, — в нем было недоброе начало; рояль был слишком богат, занимал много места; в лакированных рамах, бюсте, в люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним временам; вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им не свойственный: они стали опасны.

И Софья Ивановна чувствовала себя в чем-то виноватой. Покосится на канделябр и сейчас же начнет извиняться мысленно: во-первых, стоил он недорого — по случаю, а главное — все своим горбом нажито, да и вещь-то в конце концов не особенно ценная. Сидеть и шить было жутко и неудобно. Софья Ивановна погружалась в хозяйственные соображения, не менее горестные. Мелькала иголка. За стеной Володя зубрил алгебру, ясно, что плохо ее понимал бедный мальчик. И принесет ли ему счастье в жизни эта алгебра? Нет ли и в ней какого-нибудь тайного и опасного умысла?

Порывшись в кошельке, Софья Ивановна отложила Володе два рубля на кинематограф. Вошел Василий Петрович, тщательно причесанный и в сюртуке: куда-то собрался, на ночь глядя, в такое время.

— Ты что делаешь? — спросил он. — Я ухожу, вернусь поздно, можешь не беспокоиться. Да, вот что: передай, пожалуйста, Николаю, что я на него сердит. Мальчишка слишком возомнил о своем уме. Взял со мною недопустимый тон, как равный. Прощай.

Проходя по коридору мимо двери Николая, Василий Петрович остановился, поморщился, поправил очки, проговорил сухо: «К тебе можно, надеюсь?» — и вошел.

Сын валялся на диване с книжкой; около, на стуле, лежали папиросы и фотографическая карточка; он поспешно перевернул ее лицом вниз и приподнялся на локте. Василий Петрович затеребил бородку, покашлял и чрезвычайно неприятным голосом сказал:

— Ты много куришь, это вредно.

— Я не особенно много курю.

— Вот видишь, Николай, за обедом мы поссорились. Скажи, пожалуйста, откуда ты взял право иронически относиться к матери и ко мне в конце концов? В нас ты нашел что-нибудь смешное? Нелепое?

— Нет, по-моему, в вас ничего нет особенно смешного. Дело в том, что мы разное смотрим на вещи...

— Виноват, твои политические убеждения — просто чушь! Мальчишка в семнадцать лет не имеет права лезть вперед со своими идеями. Побольше бы надо скромности! В наше время решительнее поступали с такими клопами.

— Ты напрасно раздражаешься, — поспешно проговорил Николай, — может быть, мои убеждения и не мои и не умны, — но мне нравится их иметь, вот и все.

— Да, но мне это не нравится!

— Прости, здесь я бессилён. К сожалению, я живу не для того, чтобы тебе нравиться.

С большой быстротой в памяти Василия Петровича прошли все способы отцовского воздействия, но все они были уже неприменимы. Николай зажигалкой закурил папиросу, вытянул ноги по дивану и сказал:

— Если ты внутренно признаешь за мной право быть самостоятельным, то, думаю, что мы будем друзьями. Отчего же.

Василий Петрович спросил тихо:

— Ты, послушай-ка, собственно говоря,— кто?

— Левый эсер, папа.

Василий Петрович развел руками. Семнадцать лет он вбивал в эту голову, с большим носом, просветительные идеи, и вот они привились. Черт знает что такое!

Выпустив из надутых щек воздух, Василий Петрович сказал:

— Да, если так, извини,— удаляюсь.

3

Выйдя из зашитого досками подъезда, охраняемого в этот час членом домового комитета, преподавательницей пения, скрывающей дорогой мех шубы под оренбургским платком, повязанным по-деревенски, буркнув ей: «Благодарствуйте, Анна Ивановна»,— поскользнувшись на обледенелом тротуаре, подхваченный снежным ветром, Василий Петрович оглянулся направо и налево.

В облаках мелькнул зеленоватый свет трамвайной искры. Мирно светились окна высоких домов. Все было тихо, путь свободен, и Василий Петрович побрел посередине улицы, заранее готовый добродушной улыбкой встретить опасность, откуда бы она ни появилась.

На Арбате былолюдно, шумно. Шли и шли с Брянского вокзала, кучками и в одиночку, бородатые солдаты, согнутые под тяжестью самодельных сундучков и котомок. Иные несли пилы, инструменты. Один тащил несколько ружей, обернутых в тряпки. Солдаты шли по тротуарам, посреди улицы, бежали за трамваями, глазели на Москву, спрашивали дорогу на вокзалы,— грязные, усталые, озабоченные.

Прижавшись к стене, Василий Петрович пропустил мимо себя человек пятьдесят, валивших кучей, и подумал: «Хороший все-таки, добрый народ, эх-хе-хе».

Навстречу ему не спеша прошел военный из писарей, грызя подсолнухи и со скукой рассматривая окна. За военным шла девица, с простуженными щеками, в козынке.

— Сами вы ничего не понимаете,— говорила она плаксиво.— И вовсе она не красивая, а красивые у нее ботинки, и те не красивые, а тонкие.

Вертелся под ногами один из тех особых мальчиков, с опухшим лицом и пронзительным голосом,— они появились с первого года войны,— газетчики. Сбоку тротуара разносчик, засунув рукавицы за кушак, потрясал грушей перед сморщенным личиком какой-то старушки, говорил с досадой:

— Вам не грушу надо, гроб осиновый.

Проходили нагруженные людьми трамваи, с тем же толстомордым мальчишкой сзади, на буфере. Потрясая землю, прокатил военный грузовик. Высоко у электрических шаров крутились белые мухи. Василий Петрович свернул в темный переулок и позвонился у подъезда.

Три мужских лица, принадлежавших членам домового комитета, прильнули к стеклышку, вделанному в дверь. Василий Петрович, доказывая свою благонамеренность, вынул платок и высморкался. Лица посоветовались и впустили.

В зеркале лифта он внимательно оглянул свои порозовевшие щеки, стряхнул снежок с усов и бороды и тщательно поправил складки галстука.

4

На турецком диване, среди шелковых подушек, лежала Ольга Андреевна; дымок папиросы поднимался от ее худой, покрытой кольцами руки. Облокотясь, запустив пальцы в сухие, соломенного цвета волосы, Ольга Андреевна читала переводный роман.

Комната, как и все комнаты, где обитает холостая женщина, была чрезмерно переполнена лишними и ненужными вещами. В углу горела керосиновая печка, от чего было жарко и сухо, и левкой, стоящие перед зеркальным шкафом, завяли.

Услышав звонок, Ольга Андреевна одернула юбку, подобрала ноги и посмотрела на дверь; затем, потянувшись через весь диван, потушила в пепельнице папироску и, уйдя поглубже в подушки, опять нагнулась над книжкой.

Ей было двадцать семь лет. Муж ее, помощник Василия Петровича, был убит в начале войны. От круппа умер двухгодовалый сын. Ольга Андреевна, сопровождаемая сожалением и слезами знакомых дам, уехала в санитарном поезде на фронт. Время от времени она появлялась в Москве, погрубевшая, в кожаной куртке, смертельно усталая. Помимо сожалений, ее нагружали посылками и письмами, и дамы ездили провожать ее на вокзал. Затем прошел слух, будто она в плену, — пропала без вести.

Осенью жена присяжного поверенного, госпожа Кошке, собственными глазами увидела на сцене, в представлении какой-то восточной пьесы, Ольгу Андреевну: во время пира, в третьем акте, она подносила индийскому владыке большое блюдо, говоря: «Вот дичь».

Дамы, не поверив Кошке, пошли в театр и действительно видели и слышали, как Ольга Андреевна, с голыми плечами и пестрым шарфом, завязанным ниже живота, говорила: «Вот дичь».

Дамы раскололись, и одна часть решила у себя Ольгу Андреевну не принимать. Но она и не появлялась у прежних знакомых. А вскоре исчезла и из театра.

К этому приблизительно времени нужно отнести ее переезд в Арбатский переулок, в комнату у вдовы статского советника, Бабушкиной.

Ольгу Андреевну стали встречать на Арбате, очень похудевшую, в обезьяньей шубке; видели у Сиу, как она задумчиво тянула кофе через соломинку; видели в Литературно-художественном кружке за столом, вместе с каким-то сизым человеком в перстнях.

Присяжные поверенные, оставшиеся в Москве, находили, что Олечка похорошела и появилась у ней особая, чрезвычайно волнующая черта — прозрачный, равнодушный блеск глаз.

И понемногу доска на двери: «Н. А. Бабушкин, с. с.» — приобрела несколько иной смысл. С ней связывался ряд представлений: гремящая цепочка, черненькое, умильное личико горничной, говорящей: «Пожалуйста, пожалуйста, дома», длинный, дурно пахнущий коридор, красные и пыльные портьеры в столовой, откуда каждый раз выглядывала вдова статского советника, чрезвычайно уродливая; дальше — большие, затхлые гардеробы и,

наконец, комната; она называлась «рай», — комната, пахнущая гиацинтами и еще чем-то очень не домашним.

Здесь забывали о войне, о политике, шутили и остроумничали, точно мир действительно и не перевернулся кверху ногами, — здесь был райский уголок, оставшийся от огромной разрушенной жизни.

Ольга Андреевна всем говорила «ты», принимала, не благодаря, все, что ей дарили, одевалась в черное, не носила корсета, душилась так, что... словом, здесь был рай.

Василий Петрович крепился дольше других. Заходить — заходил, не один, конечно, но держал себя строго, в карты не играл, а больше посиживал в углу, в кресле, со стаканчиком вина в кулаке. Однажды он даже выразился про «салон» Ольги Андреевны так: «Всякое время и всякая жизнь пускает свои пузыри».

За последнюю же неделю почему-то у него из ума не шла светлая Оленькина головка и прозрачные, равнодушные глаза. Он думал: «А давненько я все-таки туда не заглядывал». Затем ему стал представляться длинный, волнующий и проникновенный разговор большой важности, и, наконец, точно осенило: только такая же, как он, бездомная, опустошенная, тоскующая Оленька может сейчас понять его тоску и сказать какое-то необыкновенное слово. Василий Петрович все еще верил в слова.

Когда он осторожно постучал в дверь и вошел, Ольга Андреевна встретила его чуть-чуть изумленным взглядом. Василий Петрович испытал легкое сердцебие, поцеловал руку и сел на низенькое плюшевое креслице:

— Вот, забежал на огонек, — принимаете?

5

— Скажите, Ольга Андреевна, вы много читаете, я вижу книжку, — после нескольких покашливаний в руку проговорил Василий Петрович, потянулся и тронул книгу мизинцем. — Это что-нибудь современное, — стихи?

— Нет, роман французский, ерунда какая-то.

— Да, французы умеют писать. Раскрываешь книжку и сразу чувствуешь себя подтянутым, в обществе

тонкого и умного собеседника, прежде всего признающего твой ум, твой вкус.

Василий Петрович посмотрел на ногти:

— У нас почему-то принято видеть в читателе идиота или дикаря. Я не могу открыть книги, чтобы меня там не начали учить нравственности или простой порядочности. Кончая книжку, я чувствую себя оплеванным. Позвольте! Я тоже культурный человек... И так во всем: писатель считает меня идиотом, народные комиссары едва терпят мое существование... Для родины я, оказывается, враг... Я — враг!..

Он вдруг задышал носом. Разговор, так ловко заведенный об изящной литературе, сорвался.

— В общем, все — более чем скверно,— проговорил он с гримасой.

Ольга Андреевна вздохнула, опустила глаза и из черепаховой коробочки вынула папиросу.

— Одно время я боялась выходить на улицу. А теперь все стало безразлично.

— Третьего дня я вас встретил, Ольга Андреевна, и кланялся, а вы не заметили.

— Я стала очень рассеянна. Устаю ходить, устаю читать. Устала переживать государственные перевороты. Третьего дня где же я была?

— Вы заходили в перчаточный магазин.

— Какие там перчатки! Москва стала запустелая, грязная, и уехать некуда.

— Да, ехать сейчас некуда. И нет хлеба, сахара. Идет чума.

— Боже мой!

— Надвигается. Курить можно?

Ольга Андреевна протянула ему черепаховую коробочку с душистыми и слабыми папиросами:

— Курите. Вы не были на «Итальяночке» в Новой Комедии? На послезавтра у меня два билета. Говорят,— очень славно. Пойдемте?

— Слушаюсь.

Василий Петрович положил ногу на ногу, прищурясь, потрогал бородку.

— Вам не покажется странным, Ольга Андреевна, если я скажу, для чего пришел? Представьте, что я уменьшился ростом, а платье на мне осталось прежним,

на большой рост. Вот так я себя сейчас ощущаю. Какое-то странное состояние... Вернее — совсем себя не чувствую...

Он до невозможности сморщился, стараясь быть понятным. Ольга Андреевна с остановившейся улыбкой глядела на него. Василий Петрович сидел в черном сюртуке, в крахмальной тугой рубашке, красный, серьезный, поблескивал очками.

Тогда она внезапно рассмеялась, даже колени ее вздрогнули под шелковым платьем. Василия Петровича бросило в жар.

— Чрезвычайно трудно выразить это,— пробормотал он,— чувство очень сложное.

Ольга Андреевна спросила:

— Хотите чаю?

— Да, пожалуй. С удовольствием.

— Позвоните три раза.

И когда он, потирая ледяные пальцы, вернулся от двери, она сказала:

— Садитесь рядом. Суньте подушку под спину. Рассказывайте.

И она, подобрав ноги, внимательно, исподлобья, стала разглядывать Василия Петровича, затем сняла пушинку с его рукава:

— Почему же вы все-таки ко мне пришли? Вот этого я не пойму.

— Именно к вам, потому что...

— Взяли и решили броситься в омут головой.

Она опять усмехнулась длинной улыбкой. Василий Петрович не ответил. Отвратительный холодок против воли пополз по спине. Стало совестно своих глаз, всей стороны лица, повернутой к Ольге Андреевне. Впору слезть с дивана и уйти, но все тело грузно, неуклюже сидело, придавив пружины. Ни уйти, ни отвернуться. И всего хуже, конечно, было это молчание, подтверждающее самые гнусные предположения.

— Я не хотела вас обидеть,— Ольга Андреевна коснулась его плеча,— простите, что я засмеялась.

— Нет, пожалуйста, отчего же...

— Не сердитесь на меня, голубчик. Говорите все. Я слушаю вас очень внимательно.

Она даже закрыла глаза. Ее лицо стало точно у спящей. Нежная кожа щеки, тонкий, с горбинкою нос и чуть-чуть приоткрытые для дыхания губы — были совсем рядом, близко и так покойны, — вот взять их в ладони, прижаться поцелуем.

Василий Петрович стиснул челюсти. «Этого еще не хватало! Поцеловать, схватить за плечи, целовать в глаза, в рот, в горлышко... И потом взъерошенным, с кривой улыбочкой, стоять над разрушенной красотой! Утвердить самого себя! Все это бред! Невозможно!»

Упершись кулаками в диван, он поднялся, застегнул сюртук:

— Позвольте откланяться.

— Куда же вы?

Он взглянул на часы:

— У меня заседание. Разрешите зайти как-нибудь в другой раз. Я соберусь с мыслями.

И, не глядя в глаза, он поцеловал руку, извинился несколько раз, обещался зайти в среду — сопровождать Ольгу Андреевну в Новую Комедию, если не помешает какое-нибудь восстание, задел по пути плечом дверь и вышел.

На улице, сдвинув шапку, он долго тер лоб, не в силах прийти в себя от стыда, растерянности, негодования. «Как это все вышло — черт знает как...»

6

Дома, в углу большого кожаного дивана, где когда-то происходили жаркие споры на общественные темы, Василий Петрович устроил все, что нужно человеку: стакан воды, папиросы, Владимира Соловьева, низенькую лампочку. Занавеси на окнах задернул: с утра было ветрено, и в стекла лепил мокрый снег.

Разумеется, на душе скребло: там, за толстыми шторами, содрогается в предсмертной муке Москва, Россия, весь мир. Страдают добрые и злые, сильные и слабые, и те, кто хотят счастья другим, и те, кто хотят счастья только себе. А здесь, наплевав на все, утверждает человек наедине с Владимиром Соловьевым!

Были, были такие мысли. Но Василий Петрович, пофыркивая, покусывая ноготь, гнал их прочь. Нужна

цельность, нужна жестокость! Путь добра бесконечно более жестокий и кровавый, чем путь зла,— в этом пришлось теперь убедиться всем. И, кроме того, в противопоставлении себя миру в такое время Василий Петрович находил что-то трагическое, и роковое, и очень острое. Так ему казалось.

Он надел теплую куртку и теплые высокие туфли; у домашних потребовал покоя. Никого не видеть, затвориться, думать! Прочтя несколько страниц, он отложил книгу, откинулся к диванной спинке и закрыл глаза:

— Бессмертие души. Да. Вот стержень всех дум. Если нет бессмертия, я — случайно возникшая частица космоса, вовлеченная в круговорот вещей, чтобы барахтаться и погибнуть так же бесцельно, как и возникла. А если я — бессмертен? Я — божество среди таких же божеств? Мои страдания и вся бессмыслица нужны мне, и я их благословлю. И благословлю еще потому, что не могу уклониться от них. Когда страдания становятся невыносимыми и бессмысленными,— я задумываюсь о бессмертии души; мне нужно во что бы то ни стало, чтобы она была бессмертна.

Василий Петрович тонко усмехнулся: «Нет, голубчик, на мякине не проведешь. Верю в бессмертие? — не знаю. Верю в бессмыслицу? — не знаю. В себя верю? — не знаю. То-то и оно-то...»

Но честность, как и всегда бывает с честностью, не дала нравственного успокоения. Одной ее оказалось мало. Василий Петрович курил папиросы, и ему начинало казаться, что путь размышлений — почтенный, но в нужных случаях жизни — плохой путь.

Далее, несмотря на запрещение, в кабинет проникла Софья Ивановна. Покраснев, она проговорила осторожным голосом:

— Я тебе помешала, прости,— на минутку отвлеку. У меня, Василий Петрович, вышли все деньги. Предлагают в домовом комитете черного мяса. Я уж не знаю, как же...

— У меня денег нет.

— А три тысячи?

— Их невозможно получить, ты же знаешь. Иди, Соня, я занят.

Софья Ивановна ушла. Она уходила совсем неслышно, только раз скрипнула кухонной дверью, чтобы сказать, что домашнего мяса брать не будем, и где-то села и затихла; и все же Василий Петрович чувствовал через три комнаты, как она покорно моргает ресницами. Он швырнул куртку, оделся и вышел из дому, думая: «Умолял хоть несколько дней покоя. Потом для вас буду вагоны выгружать, лед колоть, в швейцары поступлю».

Проблуждав часа полтора, он занял у присяжного поверенного Кошке пятьсот рублей и вернулся домой к чаю. Все было как всегда. Софья Ивановна вытирала с испуганным видом чашку. Володя со скукой рассматривал искусственных куропаток, что висели по сторонам буфета. Софья Ивановна очень любила этих куропаток и так их из столовой за всю жизнь и не убрала. Николай, конечно, читал книжку. Услышав, что входит отец, шумно перевернул страницу.

Василий Петрович бросил на стол деньги, сел, морщась вытащил из кармана вечернюю газетку, затем, читая, стал приговаривать: «Черт знает что такое! Черт знает что такое!» Словом, после кораблекрушения в этом доме снова начал расцветать быт.

Николай, не поднимая глаз от книги, спросил:

— Кстати, папа, что завтра идет в Новой Комедии?

Василий Петрович медленно опустил газету. Василий Петрович видел, как Николай сунул книжку за ременный пояс, вытер губы и, сказав матери: «Спасибочки», вышел. Через некоторое время Василий Петрович послал Владимира за братом, чтобы привести его в кабинет.

Николай явился одетый, в картузе, с трудом застегивая пуговицу на стареньком гимназическом пальто:

— Ты звал меня, папа?

— Звал. Сядь. Нам нужно объясниться.

— Прости, но я тороплюсь; у меня пленарное заседание. Если ты сердишься — мне очень жаль, но я, честное слово, против тебя ничего не имею. Да, пожалуйста, не забудь, что завтра Ольга Андреевна просила тебя заехать в половине седьмого.

— Откуда ты это знаешь? — свистящим шепотом спросил Василий Петрович.

— Говорил с ней по телефону.

— Зачем?

— А ты зачем был у нее вчера?

— Николай! Она твоя любовница!

— Ну, знаешь, отец, тебе нужно просто принять валерьяны.

Николай вышел, хлопнув дверью. Василий Петрович опустился на диван. У него голова шла кругом... Он повторил в уме все слова, сказанные сыну, его ответы, и, — когда дошло до валерьяны, — Василия Петровича бросило в жар. Забилося сердце. Он расстегнул куртку, взял Соловьева и долго глядел на страницу. На ней появились буквы. Он прочел:

«Если человек как явление есть временный и преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим».

— Единым и многим, — повторил он, поднимая голову, — боже мой, как я ужасно неумел и несчастен!

7

Пешком вдоль стен, по осклизлым тротуарам, на извозчиках, ныряющих в хлюпкие ухабы, изредка на темных внутри автомобилях, в темноте, под сырой, бьющей с ног непогодой двигались городские обыватели к едва освещенному одною лампочкой подъезду театра, где ветер трепал на двух колоннах мокрые афиши.

В низких гучах мерцал тусклый свет электричества, кое-где зеленоватой каплей светил газовый фонарь. На лесах уже давно брошенного строиться огромного здания еще виднелись облезлые от времени рекламы. Эти изображения беспечного господина в струях дыма, силача, разрывающего шину, красавицы в одном корсете, — были из другого, разрушенного, теперь непонятного мира.

Прохожие пробирались молча. Где-то в стороне Садовой, Трубы и Тверских переулков хлопали одинокие выстрелы. Стреляла ли то стража по ворами, или воры по страже, или отстреливался одинокий пешеход — не

все ли равно,— обыватели, не оборачиваясь, упрямо пробирались к темному и грязному театру.

К семи часам скудно освещенная зрительная зала была полна. Несколько полных женщин, одетых с умеренной роскошью, торопливо прошли в первые ряды, капельдинеры в потертых сюртуках запирали боковые двери; осветилась рампа; партер затих, стремительно пробежал инспектор театра и сел где-то, и пыльный занавес, заколебавшись, раздвинулся.

В ненастоящей, ярко раскрашенной комнате, залитой ярким, ненастоящим солнцем, на картонном балкончике итальяночка вытряхивала пеструю юбку. Густо-синее небо, красные крыши вдали, смуглое личико, наклеенные ресницы, платочек пестрый,— все, все это итальянское, веселое, и все, что здесь произойдет и чем кончится, будет весело, легко, ярко.

И пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые молодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвигаются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаются страсти сокрушительной лавой, пусть завтра будет конец или начало нового мира,— здесь за эти четыре часа итальянского обмана бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук не больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, отогреется.

Прогремят события, прошумят темные ветры истории, умрут и снова народятся царства, а на озаренных рампою подмостках все так же будут похаживать итальяночки с длинными ресницами и итальянцы с наклеенными бородами, затягивая, заманивая из жизни грубой и тяжелой в свою призрачную, легкую жизнь.

8

Дернув за рукав, Ольга Андреевна спросила:

— Вы купили афишку? Дайте-ка.

Она сидела, слегка закинув высоко причесанную голову, опустив руки на сдвинутые колени; по внимательному, даже нахмуренному, ее лицу скользили отсветы рампы,— улыбки, испуг, ожидание, радость.

Там, на сцене, шла какая-то милая, непонятная чепуха. Но милее и непонятнее было Олечкино лицо. Один раз она обернулась, прошептав сердито:

— Почему вы не смотрите на сцену?

Каким образом Василий Петрович попал в театр и теперь сидит с нею рядом,— разобратся было нельзя, слишком сложно. Еще вчера и мысли не приходило об этом, а если и приходила, то казалась совершенно нелепой. Сегодня в половине шестого он решил уехать в Америку, жить здоровым физическим трудом, начав хотя бы с чистки сапог (эх, если бы не семья), а без четверти шесть спешно брился и сломал ноготь, надевая чистый воротник. Сейчас хотелось только одного: бесконечно длить эти фантастические, долгие минуты.

Там, у пестрой итальяночки, появился одетый в белое растакуэр,— сделал гнусное предложение; итальяночка дала пощечину и бросилась на грудь к другу-красавцу, не имеющему средств, чтобы жить. Занавес задернулся.

В партере поднялись. Ольга Андреевна вздохнула, повернулась к Василию Петровичу и подала ему карамельку:

— Вы все еще сердитесь, что поехали в театр?

— Я сержусь?

— Почему же все время молчите? Пьеса такая милая. Вот и видно — не любите театра.

Она произнесла первое попавшееся на язык, а глаза равнодушно разглядывали; лоб наморщен, между белыми зубами, хрустя, поворачивалась карамелька.

— Конечно, молчите, меня разглядываете. Ну, какой! А вон, видите, у той толстой дамы вся челюсть вставная. На военного как она смотрит, вот смешная. Так вы не сердитесь на меня? А я вас позвала, сама не знаю зачем, а потом думаю — не хочет идти, и пускай пойдет, и сыну вашему звонила, чтобы напомнил папаше. Батюшки, на деревянной ноге идет! Как я таких жалею! Вам, может быть, курить хочется? Я посижу одна, идите.

Карамелька была съедена; антракт кончился; раздвинулся занавес, и вновь лицо Ольги Андреевны затеплилось, разгладился лоб, расширились подернутые влагой глаза. Василий Петрович, нагнувшись к ее уху, проговорил:

— Мне хорошо с вами.— Она не повернула головы.— Немножко думайте обо мне, прошу вас.

Она, глядя на сцену, ответила:

— Не мешайте слушать.

Итальяночка попадала в скверную историю: растакуэр не побрезговал гнусной клеветой, и вот красавец друг подозревает, и она не может сказать правды, она боится. Друг говорит гневные слова, сверкая подведенными глазами, широко шагает по сцене. Итальяночка прикладывает к носику платочек, дрожит, как птица: «Хорошо, хорошо, друг мой, ты мне не веришь, и я не имею других доказательств, кроме любви». И опять в дверь лезет гнусная рожа растакуэра.

— Господи, какой же он подлый, хоть бы убили его,— шепчет Ольга Андреевна.

Василий Петрович спросил улыбаясь:

— Вам ее жалко?

— Да, да, да.

— Но ведь все хорошо кончится.

— Ах, не в этом дело.

— Вам жалко ее любви?

— Да. Мне жалко всякой любви. Любви нет, понимаете, нет совсем. Ах, не мешайте же мне смотреть.

В антракте Ольга Андреевна сидела сутулая, опустив голову, покусывая губы. Конец пьесы досмотрела без внимания и еще до занавеса поднялась и, когда Василий Петрович подал ей шубку, закуталась вместе с носом в обезьяний воротник; дернув, надвинула на брови шапку.

При выходе ветер, трепавший афиши, хвосты лошадей, юбки и шубы дам на мокром асфальте, дыхнул подвальной, подземной стужей в лицо Ольге Андреевне. Она сказала:

— Как холодно! Поедемте.

Сели в санки, потащились по булыжникам, по ухабам, по слякоти. Василий Петрович, охватив спину Ольги Андреевны, чувствовал под пальцами ее ребрышки. Они были какие-то совсем плохо приспособленные к ухабам, к непогоде, к тому, чтобы охранять живое, отбивающее секунды жизни, беззащитное сердце. Ребрышки клонились, вздрагивали под пальцами. Все лицо ее до бровей было спрятано в воротник. Василий Петрович

чувствовал, как через эти тонкие ребрышки, что двигаются под его пальцами, в холодной темноте, в отсветах задуваемых ветром фонарей, сквозь шубу коснулась, кольнула в сердце грустная жизнь, тепло и жалость. Наклонившись к ее воротнику, он хотел сказать про это, но губы, остуженные непогодой, едва выговорили какие-то жалкие слова. И эта искра внезапной жалости, скудный огонек любви, двигалась вместе с двумя сидящими в санях фигурами по темному, воющему всеми проволоками и простреленными крышами, мрачному городу. Где было ей уцелеть!

У подъезда он говорил:

— Сегодняшний вечер очень знаменательный для меня, Ольга Андреевна. Я давно не чувствовал в себе такой уверенности, что все-таки нужно, нужно жить. Как ее ни гни, а ведь пробьется она, как озимь. Право, совсем не так плохо. Что-то есть, что-то есть.

Дверь отворили. Он протянул руку. Ольга Андреевна, не замечая протянутой руки, вошла в подъезд, затем обернула голову, ее глаза были строгие.

— Зайдите, ведь еще не поздно.

9

Они сели на диван. Ольга Андреевна положила обе ладони под щеку и совсем ушла в подушечку, был виден только ее открытый широко глаз. На кухне, должно быть, вдова Бабушкина спрашивала у кухарки:

— Кто пришел?

— Да вот этот, шут его знает, в понедельник-то заходил.

— Ах, вот как. В очках?

— Ну, да.

Потом стало тихо. Затикали где-то близко ручные часики.

— Она знает, как вас зовут, сколько у вас детей, все знает,— проговорила Ольга Андреевна.— Очень противная особа.

Опять помолчали. Василий Петрович, улыбаясь, разглядывал пепел папиросы.

— Странно подумать, что отсюда придется идти на улицу, быть опять одному. Бррр...

— Вам не хочется оставаться одному?

— Вообще, быть одному невозможно,— сказал Василий Петрович.— Быть самому с собой — это другое дело. Ну, а теперь самого себя я и не чувствую. Я совершенно один, абсолютно. И вот в такие минуты думаешь: большое чувство к женщине может наполнить эту пустоту, связать с жизнью.

— Какой бедный,— проговорила Ольга Андреевна,— как же мне вас теперь отпустить одного?

Василий Петрович хихикнул и спохватился... Она растормошила подушечки, устроилась половчее.

— Не хочется — и не уходите. Оставайтесь.

Тогда он повернул голову и вдруг густо, так что очки запотели, побагровел. Ольга Андреевна вытянула руку и худыми пальцами, покрытыми перстнями, взяла его за отворот сюртука:

— Вы такой милый. Вы такой милый были весь вечер. Неуклюжий, неумелый, страшно милый.

— Не шутите со мной, Ольга Андреевна.

— А я не шучу.

Тогда он проговорил не своим, а каким-то итальянским, незнакомым самому себе голосом:

— Дело в том, Ольга Андреевна, что я люблю вас.

— Ну,— сейчас же протянула она,— ну, вот, зачем вы так говорите. Меня вы не любите, сейчас только вам и показалось...

— Клянусь. Вы не знаете, что я переживаю... Эти дни, как помешанный... Я не мог решиться...

Тогда она перебила с досадой:

— Послушайте, Василий Петрович, а я не люблю нечестных людей. Дайте-ка мне носовой платок. Вон там, на туалете.

Он пошел к туалету, опрокинул какую-то жидкость, сказал: «Фу, ты», споткнулся об угол ковра и присел у ног Ольги Андреевны. Было ясно, что он плохо соображает. Она сказала:

— Вот так-то почтенные люди кидаются в омут глосей.

— Верьте мне, ради бога.

— Ах, нет. Лучше скажите мне что-нибудь веселое.

— Не мучайте меня.

— Это — я-то мучаю? Изю всех сил стараюсь доставить ему как можно больше удовольствия. Ах, Василий Петрович, Василий Петрович, поймите же: вы весь крахмальнѣй, рубашка на вас крахмальная, сюртук крахмальнѣй, голос крахмальнѣй. И весь вы каким-то коробом топорщитесь.

Она вдруг засмеялась, нагнулась стремительно, схватила Василия Петровича за уши, закинула его голову и поцеловала в нос.

— Пуц,— сквозь смех едва проговорила она.— Пуц из породы глупых. Какой славнѣй!

И сейчас же от смеха опрокинулась на спину. Василий Петрович просунул руки под ее плечи, усатым ртом искал губ.

Смеясь, царапаясь кольцами, она увернулась, перебралась на другой конец дивана; проговорила, задохнувшись:

— Нет, нет, нельзя.— И, как кошка, стала оправлять платье.— Теперь мне стало весело, и больше нельзя. Поняли? Откройте шкаф и достаньте коньяк.

— Скажите — любите меня? — пробормотал Василий Петрович.

— Нет, совсем не люблю, в том-то и дело.

— Вы издеваетесь!

— Вот неблагодарнѣй человек! Я же предлагала вам остаться.

— Молчите! Я не хочу, чтобы вы глумились над чувством.

— Глумиться над вашим чувством! Над каким? Я вам совершенно добродетельно, из одного доброго расположения, безо всякой выгоды, предложила остаться. А вам, оказывается, мало этого! Я еще должна переживать ваши чувства!

Ее лицо вдруг стало острым и злым.

— Не верю вам, поняли? От ваших переживаний мне скучно и кисло — оскомина. Пошлость!

Она ударила кулаком в подушечку.

— Вы еще в понедельник мне не понравились. Пришел, сидит, сети расставил. Добрый, преснѣй. Упырь, прямо упырь. Своего-то нет ничего. Пришел напиться. Боже мой, какая тоска! Уйдите, уйдите сию минуту,

господин... Не блещите на меня очками. . Вы какой-то весь медный.

Она поднесла руку к горлу. Рот ее пересох, глаза ввалились.

— Уходите же, я говорю. Придете в другой раз. И тогда скажете точно и ясно, что вам нужно от меня.

Василий Петрович сидел на другом конце комнаты, спиной к зеркалу; несколько раз он повторил, словно про себя:

— Вы неправы, нет, неправы.

В дверь постучали, Ольга Андреевна не ответила. Вошел Николай.

10

Ольга Андреевна вскрикнула:

— Коленька! — вскочила, взяла его за руки. — Какой же вы славный, что зашли. Дайте поцелую в лобик. Хотите чаю?

Николай сдержанно и нежно отстранил Ольгу Андреевну, сел на стул у стены и покосился на отца, но не усмехнулся, как обычно, взглянул сурово.

— Я предупреждал Ольгу Андреевну, что зайду часам к одиннадцати, — сказал он, — ну что, хорошо было в театре?

Василий Петрович, внимательно разглядывая взятую с туалета брошку — птицу со стрелкой в клюве, подумал: «Вот черт, уйти сейчас — невозможно; ответить — нет, нет; накричать на мальчишку — выйдет глупо», — и он промолчал, только прищурился, поднеся к свету птичку.

У Ольги Андреевны поблескивали глаза; сидя на краю дивана, она поворачивала голову то к отцу, то к сыну, — слова так и готовы были слететь с ее губ. Николай сказал:

— Холод сильный, а мне жарко. С Нижней Якиманки бежал бегом. На мосту остановили солдаты, хотели в воду бросить. Отругался. Вот так случай.

— А что без вас тут было, — проговорила Ольга Андреевна, — какие странные разговоры. Мы чуть было не поссорились. Говорили все о любви.

Она протянула руки, впустила пальцы в пальцы:

— Любви ему нужно... Видите... Я говорю: Василий Петрович, но мы, женщины, не верим в любовь. У нас, у каждой, было столько своего, окаянного, что любовь никак не получается. Вот вы и рассудите нас с вашим папой. Он сейчас обиженный. А на извозчике мы ехали, шепнул — или мне показалось это, Василий Петрович? — нет — шепнул такое хорошее что-то, нежное. Господи, думаю, неужели забыл человек о себе, на одну секунду почувствовал за другого? Неужели чудо случилось?

Она не спеша вытащила из-за пояса юбки платочек, приложила его к носу, точно актриса, и бросила. Николай, охватив голову, упершись локтями в колени, глядел в пол. Василий Петрович слушал, как медленно, с силой, ударялось сердце.

— Очень жалею, Василий Петрович... Вы уж простите меня... Коленька знает, что меня не нужно тревожить: у меня целая кладовая мусора женского. Сама бы рада вам весь мусор отдать... Вот Коленьку я за что люблю? — для него я всякая хороша, и то хорошо, что путаюсь черт знает с кем, и что один мерзавец на моторе ко мне ездит, теперь пешком бегают, боится. Со всем мусором мила ему... Правда? И, вы думаете, он жалеет меня? — нет. Коленька мальчик здоровый, у него от бабьей духоты голова болит. А любит меня попросту, как себя любит, как товарища какого-то. И товарищам рассказывает: «Ольга Андреевна — милая, добрая душа, настоящая женщина, без фасонов-фасончиков...»

— Врете, этого я никогда не говорил, — мрачно произнес Николай, не поднимая головы.

— Люблю его за жестокость. Сильный, жестокий мальчик. Чего, в самом деле, бабьей духотой дышать! Открыть форточку — вот и хорошо. А за меня убьет кого угодно. Вот какой!

— Помолчали бы лучше, Ольга Андреевна, до ерунды договоритесь.

— Сейчас кончу. Вы о своем несчастье хлопчете, Василий Петрович, а я о своем. Не знаю уж, как мы сговоримся... Я вот вся — как ящерица раздавленная. Все слезы в одиночку выплакала. По этому дивану каталась. Теперь выпотрошенная, — весело! И поклялась, — что бы ни было, — не любить, не чувствовать. Не могу

больше! Не хочу страдать! И вы совсем напрасно ждете от меня... Хотя немножко добились. Вот, смотрите, приятно? Нравится?

У нее вдруг покатались крупные слезы. Николай поднялся, одернул кушак:

— В общем, вы все это страшно зря. Перестаньте, Ольга Андреевна. Я уйду.

— Коленька, подождите, не уходите... Замолчу. Мне только страшно. Он молчит. Я кричала ему, чтобы ушел. Нет, сидит. Почему я знаю, что он думает? Мне показалось одну минуту, что влюбилась в него. Ну, простите, простите меня, знаю — ужасно. Но мне больно от каждой малости, от пустяка, от царапины, так больно...

Николай снял с плеча ее руки, посадил Ольгу Андреевну на стул и, подойдя к отцу, все так же неподвижно сидящему у зеркала, проговорил:

— Папа, ты бы ушел, в самом деле, — видишь, что с ней.

Василий Петрович поглядел на рыжие, злые глаза сына. Николай проговорил трясущимися губами:

— Если ты не способен ничего чувствовать, лучше уйди. У тебя грязное воображение, больше ничего. Мне очень стыдно за тебя, отец... понимаешь?..

Тогда Василий Петрович привстал и неожиданно ударил Николая по лицу. Постоял, сопя, сжимая и разжимая кулаки, нагнул голову и вышел, оставив дверь раскрытой.

«Домой? Нет, нет!» — Василий Петрович застегивал крючок шубы; натянул перчатки, глубоко надвинул шапку и продолжал стоять на ступеньке захлопнувшегося за ним подъезда. — «Куда?»

В этот час было совсем тихо, — ни шагов, ни звуков копыт. Тишина. Но вот в воздухе повис унылый свист поезда. Как волновал, бывало, этот протяжный звук! Точно приносил вести издалека, — жизнь казалась долгой, радостной, неизведанной.

Василий Петрович, спрятав подбородок в мех воротника, пошел по переулку. Грязь и вода была под ногами, сырость струилась со стен, над крышами повисло не-

бо, насыщенное ледяной влагой, изредка падающей каплями.

Опять раздался свист. Это поезд, набитый солдатами и мужиками, подходил на разъезженных колесах и взывал диким воем: хлеба, жизни, милосердия!

Василий Петрович, приподняв голову, слушал. Представились темные, голые, брошенные поля, — огромные пространства, и редко на буграх торчащие, с разметанными ветром крышами, полусгнившие избы, и какая-то высокая фигура в платке, идущая, махая рукой, с бугра на бугор, по полям. Все это ясно представилось глазам, как видение, возникшее из протяжного свиста.

Сзади хлопнула дверь; кто-то, поспешно выйдя, осмотрелся и повернул вслед за Василием Петровичем. Шаги стучали за спиной: тук, тук, тук. И то приближались, то западали. В этот час было закрыто все, — весь город, наглухо запершись на замки, спал. Куда идти? Василий Петрович свернул направо, налево, потом опять направо. Сзади раздавались шаги — топ, топ — в башмаках без калош. Близ Никитских ворот он остановился. Стал и тот неподалеку мутной фигурой.

— Ах, черт, — прошептал Василий Петрович, вглядываясь. Фигура заколебалась, приблизилась и вошла в неясный свет, падающий из окна. Это был Николай. Обе руки его глубоко засунуты в карманы, лицо зеленоватое, худое, незнакомое.

«Мальчик, родной сын, — подумал Василий Петрович, — а ведь был кругленький, теплый».

И он проговорил хриповатым голосом:

— Это ты, ну, хорошо, — и пошел дальше, держась у стены, а Николай — рядом, с другого края тротуара; нога его то и дело соскальзывала в канавку. Затем оба они сразу остановились.

— Я тебе не намерен отдавать никаких отчетов, слышишь! — крикнул Василий Петрович. — Сам виноват! Заслужил. Я давно собирался тебя проучить. И теперь очень рад. Все. Можешь идти домой.

Выкрикивая эти самому себе противные слова, он, не отрываясь, глядел на руки Николая, сунутые в карманы очень узкого пальто.

— Слышишь, вся эта история мне гораздо более противна, чем тебе, быть может. Мне больно, что мой сын...

Николай... Слушай... Я тебя повалю... Вынь руки... Не смей!.. Что ты делаешь!

Вздыхнув, не то застонав, Николай потянул из кармана правую руку, точно в ней была страшная тяжесть. Василий Петрович быстро зажмурился, втянул голову в плечи. Все тело его ослабло, осело, привалилось к стене. Пронеслась, как искра, мысль: «Только скорее». Потянулась секунда такого молчания, такой тишины, что слышно было, как упала капля, точно камень. Затем он услышал горячий шепот Николая:

— Отец, папочка, милый, не бойся...

Далеко отведя револьвер, Николай другою рукой что-то выделывал пальцами очень жалобное, бормотал, и лицо его все смеялось плачем, все было мокрое.

— Хорошо, хорошо, Коленька, иди, родной, я сейчас вернусь.

И Василий Петрович, не оборачиваясь, зашагал по лужам. Перешел улицу. Остановился. Перед ним возвышался огромный остов дома. Сквозь пустые, обожженные окна видны были летящие облака. Идти дальше не хватало сил — так дрожали ноги. Василий Петрович облокотился о полуразрушенное окошко, достал папиросу и держал ее незакуренной между стиснутыми зубами.

— Мальчик хотел меня убить, вот история,— и он сдерживал изо всей силы подкатывающий к горлу соленый клубок.— Совсем плохо, значит, совсем дело плохо.

В отверстиях окон подвывал ветер; погромыхивая, скрипели вверху листы железа. Говорят, где-то с той стороны еще курилась с октября тлеющая куча щебня и мусора.

Он стал глядеть на тучи, на трамвайный столб, простерший на тучах сухую перекладину.

Было так трудно, что Василий Петрович опустил голову. Среди посвистывания ветра до слуха его дошел чей-то голос, точно читавший:

«Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана, господи, упокой... Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана...»

Он вытянул шею. Говорили неподалеку, за углом. Он пошел на голос. Со стороны бульвара стояла высокая женщина в платке, сложив руки на животе, приговаривала «за убиенных» и кланялась на груду мусора

сожженного дома. К подходившему она повернула большое лицо с крупным носом:

— Каждую ночь воют,— нехорошо, очень плохо.

— Кто воет?

— Убиенные... До свиданья, барин,— торопливо сказала она, наспех перекрестилась и пошла прочь, и скрылась за углом. По всему видно, что была сумасшедшая.

Василий Петрович во всю грудь захватил воздуху, закашлялся и, уже не сдерживаясь, стал глухо лаять... Слезы полились из-под золотых очков... О ком?.. О сыне Колечке... о сумасшедшей бабе... о замученной Оленьке... о нелюбимой жене, только и умеющей хлопать ресницами в ответ на все непомерные события... И о себе, раздавленном и погибшем, плакал Василий Петрович, спотыкаясь и бредя по трамвайным рельсам в непроглядную тьму бульвара...

НАВАЖДЕНИЕ

Был я в ту пору послушником в Спасском монастыре, пел на клиросе тонким голосом. Зиму пропоешь — ничего, а после великого поста — маета: от плоти кожа останется на костях. Стоишь, стоишь всю ночь на клиросе, — и поплывет душа над свечами, как клуб ладана... И сладко и, знаю, грех. А за окнами березы набухли, ночь звездная, — весна к самому храму подступила. Мочи нет!

На Фоминой уходил из монастыря иеромонах Никанор к печерским святителям за благодатью. С ним я и отпросился. Трое суток у кельи архимандрита на коленях простоял, побои принял и брань; говорю — душа просится, отпусти. Молению моему вняли.

И вышли мы с Никанором из ворот, прямо полем на полдень в степи. В траве и в небе птицы поют. Теплый ветер треплет волосы. Верст пять отошли, разулись и опять побрели вдоль речки. Никанор мне и говорит:

— Вот так-то, Рыбанька, и в раю будет.

Был у нас тогда царем Петр, нынешней государыни родной отец. Чай, слышали? С великим бережением приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили драгуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением — не беглый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. Ну, откупались: кому копейку дашь, от кого схоронишься в коноплю.

Добрели мы так до Украйны. Земля широкая. Коегде дымок виден, чумаки воза отпрягли, кашу варят; коегде засеки от татар. Кругом трава, да птицы, да облака за краем, да каменные бабы на курганах.

Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой, что везли вместе с солью из Перекопа. Везли не спеша: верст десять отъедут и заночуют; разложат костры из сухого навоза, сядут вокруг, поджав по-турецки ноги, глядят на огонь, курят трубки.

И наслушались мы рассказов про Рим и про Крым, про Ясненьски корчмы, и про гетмана, и про такие вещи, которые и вспоминать-то на ночь не совсем хорошо было.

Ближе к Днепру хутора стали попадаться чаще; заходили в них ночевать Христовым именем; пускали всюду. И здесь стало мне много труднее.

Видим — плетень, на нем горшки, рубашки сушатся, за ивами — белая хата, кругом подсолнухи стоят. Прибежит, забрешет собачка, и на голос выглянет из-за угла девица или бабенка, такая лукавая! Богом прошу Никанора:

— Бей меня посохом без пощады!

Зайдем в клеть, рубаху задеру: бей, говорю, бей, а то боюсь, не дойду до Киева, брошу тебя.

И хотя побои принимал великие, но помогали они мало. Так добрались мы до Батурина; постучались ночевать в самую что ни на есть плохонькую избенку, на краю города, у старой старушки. А чуть свет — вышли на базарную площадь, что у земляного вала. Купили калача и тарани. Сели на лавочку и едим. А рыба соленая.

Смотрю — Никанор все на окошко косится. В нем толстый, опухлый шинкарь глаза трет, зеваает. Никанор мне и говорит:

— Рыбанька, поди попроси у шинкаря вина на копейку, — так бог велит.

Я подошел к окну, показывая копейку. Шинкарь повертел ее, положил за щеку, вынес нам вина штоф. Мы с молитвой хлебнули, и еда много скорее пошла. Никанор жмурится. Тут солнце встало над степью, и начал народ прибывать. Кто колесо новое катит, кто тащит лагун с дегтем; цыгане проехали на лошадях, до того черные, кудрявые, как черти страшные; в балаганах корыта, железо разное, шапки — хороши шапки! — горшки расписанные, дудки, польские пояса, — чего только нет в Батуринах! Век бы так просидел, на лавке!



«ПРЕКРАСНАЯ ДАМА»



«ОВРАЖКИ»

Подходит к нам казак небольшого роста, худощавый: сел рядом на лавку, глядит, ус начал жевать. А вина у нас в склянке еще половина осталась.

— Вы,— спрашивает казак,— не здешние, москали?

Я ему отвечаю тонким голосом, вежливо:

— Совершенно верно; мы из Великой России, странные люди, идем в пещеры, к святителям.

— А вино,— спрашивает казак,— вы почему у шинкаря брали?

Тут ему Никанор отвечает еще слаще:

— На копейку брали, сынок. А ты не томись, откушай с нами.

И подает ему вино и рыблю голову пожевать.

Казак до донышка склянку вытянул, стряхнул капли в траву, рыблю голову пожевал и подсел ближе:

— Вижу я,— доподлинно вы люди духовные, обычай у вас не воровской, не тяжелый. Надо бы вам к нашему атаману зайти. Он до странных людей милостив и подает милостыню.

— Что же, если милостив, можно и зайти к атаману,— говорит Никанор.— Собирай, Рыбанька, крошки в мешок.

И повел нас казак Иван через город на атаманову усадьбу. Подходим не без опаски: у ворот пушки стоят. В траве спит сторож с тесаком. На дворе службам—числа нет, все белые, выбеленные; атаманов дом длинный, низенький, с высокой соломенной крышей, и весь деревьями заслонен. Вдалеке виден храм о пяти главах. Место дивное. Подивились мы и на птиц, что, не боясь, ходили между кур и собак, раскрывали хвосты как лазоревый куст; подивились и на коней,— вывели их жолнеры чистить: ногойские иноходцы, горбоносые скакуны с Дону, рейтарские вороные жеребцы на цепях — таково злы.

Великим богатством владел пан Кочубей, наказной атаман, генеральный судья...

Иван оставил нас у людской, велел ждать, а сам ушел. Спешить некуда,— сели мы на крылечко, Никанор и говорит:

— Про Кочубея сказывал мне наш архимандрит,— он сам из здешних, не то из Диканьки. Думать надо, Кочубей хочет ему письмо послать или поклон.

И стал переобуваться, лапти новые приладил, ношенные спрятал в суму, косицу заплел, и руки вымыл, и мне то же велел сделать.

К вечерне пришел Иван и повел нас через сад в церковь. Что за сад! Густой и прекрасный. Вдоль дорожки стояла сирень, до самой земли легла цветами: такая пышная. От духу ее Никанор носом повел и ткнул меня ногтем в щеку:

— Запомни, запомни сей сад. Когда помирать будешь — оглянись!

И вот уже смерть моя скоро, и я не забыл этих слов и того прекрасного сада.

После вечерни вышла к нам атаманова жена, Любовь, и спрашивала, и Никанор ей отвечал. И она велела нам идти в дом ужинать. Сели мы в беленой большой кухне за двумя столами. Никанор — к малому столу, под образами, а я — ближе к двери, с челядью, казаками и Кочубеевым сыном. Сидим, еды не касаемся. Вдруг слышу — двери в горницах захлопали, идет человек, по шагам слышно — властный. Я вытянул голову из-за кривого казака, что локтем придавил меня к стене, вижу — вошел Кочубей, приземистый, широкой кости мужчина, горбоносый, и голова не бритая, как у казаков, а курчавый, седой, с седыми же усами ниже плеч.

Вошел, на нас из-под бровей посмотрел и к образам повернулся. Мы поднялись и запели вечернюю молитву и «Отче наш». И я, к слову сказать, глядя на могучий затылок атаманов, соловьем залился, — до того угодить захотелось такому дородному боярину. Отпев, сели. Молодая женка, стряпуха, поднесла каждому по чарке горилки, поставила щей в мисках, и я оскоромился.

Напротив меня сидел молодой казак. Смотрю — потупился и не ест, мосол положил, и кровь у него так и взошла на щеки. Эти дела я очень понимал в то время. Опять выглянул из-за кривого, — за малым столом сидит Кочубей, рядом с ним Никанор жметя, напротив — Любовь, атаманша, черноватая старуха, к слову сказать, мало похожая на боярыню, а вроде ведьмы, про которую нам чумаки рассказывали, и спиной ко мне, на раскладном стуле, — когда она вошла, сам не знаю, — сидит женщина молодая или девица, на руку облокотилась, голую до локтя, в парчовом платье не нашего крою, перетяну-

тая, с пышными рукавами, и две темные косы у нее вокруг головы окружены. Слышу, говорит ей Любовь:

— Ты нос не вороти от отцовской пищи, для тебя, матушка, отдельного нынче не варили.

Пожевала губами и — Никанору:

— Вот, отец, послал нам господь за грехи горе с дочерью.

Но тут ей Кочубей басом:

— А ты, Любовь, помалкивай, лучше будет, да...— И дочери пододвинул локтем миску с варениками.— Ешь, ешь, Матрена!

Она взяла спицей вареник, вижу — скушала и опять подперлась. Но тут и на наш стол подали вареников шесть мисок, кривой казак засопел, заложил усы за уши и так затеснил меня, что за его спиной я так больше и не увидел красавицы.

Когда все разошлись, Иван позвал нас в горницу. Там сидел Кочубей на подушке, сосал трубку, отдувался.

— Вы,— спросил он,— в Киеве недолго задержитесь? Оттуда прямо домой?

— К жнитву надо быть домой,— отвечал Никанор.

— В Москву заходить не будете?

— Нет, в Москву нам заходить большой крюк.

— Ну, ну,— и полез Кочубей в шаровары,— вот, отец, отнесешь в монастырь два рубля — жертва, а это тебе ефимок, а это товарищу твоему,— и подает мне семь алтын.

Мы благодарить стали, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дарами: по холсту нам польского полотна, да по два полотенца, да пирог большой на дорогу. Дары положила на стол. Мы опять благодарим. Она говорит:

— Переночуйте у нас, странные, у нас хат много. Завтра обедню отстоите, пойдете.

А Кочубей все трубку сосет шибко и поглядывает на нас. Потом взял ковер с лавки и прикрыл дары на столе. И нас отпустили.

Тот же Иван отвел нас в пустую хату. Никанор сейчас же заснул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песни поют.

Поворочался я под армяком,— тоска, сердце стучит, и вышел, будто по своему делу, из избы на волю. Ночь

светлая; у конюшни в траве лежат парни. Один поднялся и побрел, бегом побежал, гляжу — за деревьями девичья рубашка белеется, он — туда, и сели в траву. А мне-то что же делать? Подошел к парням, они спрашивают:

— Что, москаль, не спишь, или блохи заели? — и смеются.

Потоптался около них, побрел к воротам; на лавке сидит казак и с ним женка, та, что нам ужинать собирала. Обернулись ко мне — зубы скалят. Обошел кругом весь двор, — где что зашуршит — так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть!

Дошел я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях и гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущи темные, пышные. На высоких тополях листья блестят. И тихо, так тихо — слышно, как на реке Семи ухают лягушки.

И во мне, — в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где дыхание, — музыка началась. Будто слышу я — пение множества голосов и слышу колокольный голос, веселый и частый, и хор то покрывает его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слезы душат.

И будто пение слышу я из храма. Обернулся — на двери висит большой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, заутреню служат?

И так мне стало страшно, — сполз с паперти и побежал по саду. А сирень мокрыми кистями — хлысть, хлысть по лицу!

Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, и боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, а за ними — окошко и в нем сидит женщина и смотрит на меня, в лунном свете, вся белая, только брови темны, да глаза — как две тени. Узнал ее — Кочубеева дочь, Матрена.

Она спрашивает тихим голосом:

— Кто это?

Я молчу.

— Подойди ближе.

Я пододвинулся.

— Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да нечем; сама, как пленная, у батюшки живу.

Лицо у нее строгое, брови темные, монашеские, а губы как у дитя. И все ее точно прядка волос щекочет — проводит пальцами по щеке.

— Ты зачем к нам в сад забрался? — она говорит. — Вот пожалуйсь батюшке — запорют тебя казаки плетями.

И сама усмехается. Я гляжу на ее красоту, и в дыхании моем все затихло: как ночь стало.

— Как тебя зовут? — она спрашивает.

— Трефилием.

— А в миру как звали?

— Тишкой.

— А не грех тебе по ночам с девками разговаривать? Ведь девка такого наскажет, — потом на коленках не замолишь.

И опять засмеялась:

— Ушел бы ты от греха, право. А то и тебе грех и мне грешно. Кабы ты был монах старый. Уйдешь или нет? — Тут она вздохнула. — Скажи, Тихон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать не дает? Скажи — большие нам будут муки или все здесь на земле простится? Подойди ближе.

И я совсем уже рядом стою, чувствую, какая она сидит горячая, усмехается. А глаза темные, мрачные, не на меня глядит... Вот грешная!.. Вот грех-то!.. И говорю ей:

— Отпусти. Я уйду.

— Монашек, — она говорит, — кабы не бог — кто бы тебя привел под мое окошко... А ты бежишь... — Положила руку мне на плечо, и чувствую на затылке ее пальцы. И клонюсь, покуда лицо к ее лицу не подошло... Губы ее, вижу, — дрогнули, раскрылись... Отвернулась она немного и говорит:

— Помоги мне. Спаси меня. Погибаю. Приведи мне коня. У коновязи всю ночь оседланные кони стоят... Отвяжи двух, приведи к церкви и жди... Приведешь?.. Не сробеешь?..

Нагнулась быстро и губами тронула меня, как углем... Соскочила с подоконника и шепчет из темной горницы:

— Иди, иди... Торопись...

Тут взял меня такой озноб, такая радость... Ничего не понимаю, — одно: коней привести...

— Ладно, жди! — говорю, и побежал.

На дворе все спать полегли; месяц закатывается, виден над самой крышей; тихо: только за воротами сторож колотит в колотушку.

Я крадусь от дерева, вижу — коновязь, кони хрустят сеном. Только вышел на открытое место—один повел глазом, обернул ко мне морду и заржал звонко, протяжно.

И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне, в наваждении. Крещусь, бормочу: «Да воскреснет бог...» И слов не слышу, одно чувствую — на шее пальцы Матрены, точно в печь огненную тянет она меня.

Понемногу обошелся, отпрукал коней, кинулся животом на одного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади — как заржет конь в другой раз, и собака завыла.

Я доскакал до сада и только свернул на дорожку,— навстречу бежит человек, раскрыл руки и крикнул:

— Трефилий!

Гляжу — Никанор. И сила во мне вся опустилась. Он подбегает, ухватил за ногу, тащит с седла:

— Слезай, вор! Слезай, погубитель! Убью заживо!

А на дворе уж голоса слышны, погоня, конский топот.

Никанор поволок меня через кусты в сад, в самую глушь, повалил лицом в землю.

— Молчи,— говорит,— молчи! Найдут — живыми не быть! Ах, вор! Ах, небитый!

И таскал меня за волосы, однако не делая большого шума.

А когда погоня затихла, привел обходами в избу, толкнул перед образом на колени и начал допытывать. Я молчу. Он опять за свое — за волосы таскать.

Я молчу, он передохнул да как урежет посохом меня по крыльям: «Сыну, говорит, желай добра — ломай ребра».

Тут сердце во мне закипело и отошло: разжал зубы, залился слезами и рассказал все, не утаил ни крошки.

Никанор испугался:

— Вот беда, сынок! То-то в народе говорят недоброе про Кочубееву дочь. Ах, ах! Да знаешь ли, куда она скакать-то хотела с тобой? Уходить нужно отсюда. Бог с ними, с дарами!

Этой же ночью мы тайно ушли со двора. На рассве-

те добрались до реки Семи и сели на бережку, дожидаемся перевоза, молчим.

Утро ясное. Над рекой, в камышах, туман курится. Свистят кулички. Небо просторное. Земля широкая и вьется Семь синей водой далеко по степи.

Я лежу на спине, и будто не мое это тело, не моя душа. Уйду, думаю, либо на Дон к казакам, либо за море, награвлю золота у татар или у персов, вернусь к Матрене как жених. На что мне душа, если нет ей погибели?

Вдруг видим, скачет верховой и нам колпаком машет. Никанор мне тотчас скороговоркой:

— Рыбанька, если что, — отрекайся и отрекайся, будто мы — и не мы, знать ничего не знаем.

Подъезжает казак Иван и начал нам выговаривать — зачем ушли, и даров не взяли, и не прощались. А про давешнее не упомянул. Хлестнул плетью по оводу.

— Атаман, — говорит, — честью вас просит вернуться, а невежества не потерпит.

Делать нечего. Вернулись мы на усадьбу. Никанор к обедне ушел, а меня запер в избе, велел читать Исусову молитву и углем отмечать, сколько раз прочитаю.

В избе сухо, жарко, сверчки трещат. Я стою на глиняном полу, на коленях, повторяю: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешного», — и чиркаю угольком по стене. И не то, что греха своего не чувствую, не понимаю святых слов — более того: все, что было и что помню, — степи, и чумаков, и степных птиц, и хутора над Днепром, и Кочубеев сад, и храм, полный ангелов, и ангелы, как птицы над куполами, и Матрену в окошке, и губы ее, и дикие глаза, и белая рука у меня на затылке, и конь ржущий, — все это закружилось перед глазами. И точно ветер прошел сквозь мое тело. Такая радость — свет божий! Слава тебе за жизнь и за свет, за тело и за дыхание. И слаще всей радости одолел меня сладкий сон. Заснул прямо на полу. Потом слышу голос:

— Трефилий, а Трефилий, будет спать-то!

Смотрю — у стола сидит Никанор. Перед ним лежат дары.

— Вставай, беда случилась.

— Какая беда, батюшка?

— Извет. Государю нашему донос. Кочубей сказал за собой слово на гетмана Мазепу.

И Никанор стал рассказывать, что было. После обедни подходит к нему казак Иван и говорит тайно: «Кочубей-де велел тебе быть в светлице. Когда увидишь, что у светлицы его людей не будет, иди в горницы, и двери за собой затворяй, и затворы накладывай, и так дойдешь до светлицы, где атаман живет». И Никанор пошел, и двери за собой затворял, и накладывал крючки. В светлице с голландской печью, с коврами и седлами на стенах, встретил его Кочубей и спросил Никанора, какой он породы, и спросил, можно ли ему верить в тайном слове. И Никанор сказал — верь! И целовал крест наперсный. В то же время вошла Любовь, принесла благословляющий крест, деревянный, с мощами. И они дали Никанору тот крест целовать, и целовали сами. И Любовь сказала: «Гетман Мазепа, Иван Степанович, вор и беззаконник, — дочь нашу родную, Матрену, свою крестную дочь, хотел взять замуж. И они ее не отдали, потому что она ему крестная дочь. Он же зазвал ее хитростью в гости и испортил, и она теперь женщина, и живет как безумная и порченная, едва силой удерживают, чтобы не бежала к нему, к Мазепе. За это Мазепа на них зол и грозитя головы оторвать, оговаривает, будто они с мужем тайно переписываются с Крымом». Кочубей в это время ходил по горницам, смотрел — крепко ли затворены двери, нет ли кого из челяди, и, вернувшись, сказал:

— Гетман, Иван Степанович Мазепа, хочет государю нашему изменить, отложиться к ляхам и пленить Украйну и государевы города.

И велел Кочубей идти Никанору в Москву — донести об этом боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, не теряя времени, чтобы успеть гетмана захватить в Киеве.

Шутка ли — идти в Москву с доносом! Хлебнешь горя на допросах, не поверят — пытка, а поверят — все равно на цепи целый год будут держать.

Измучился я, слушая Никанора. Вспомню вчерашнюю ночь, и так злобой и зальет меня, — горло бы перегрыз старому погубителю, распутнику, вору! Надвинул колпак и говорю Никанору:

— И думать нам нечего. Хоть умереть, а государя известим об измене. Идем в Москву.

И пошли. И промаялись мы всю осень и зиму до великого поста. Таскали нас по приказам. Возили в кандалах в Смоленск. Никанору ноги поморозили, — совсем старичок ума решился. А я терпел. Как тогда окаменело сердце — так и лежало камнем. пытки принимал без крика. Много передумал, лежа в подвалах на гнилой соломе. Так и положил — быть греху с одной Матреной, а не быть — замучаю сам себя. Молод был, горяч и обет свой монашеский не нарушал.

Государевым приказом дело велено было прекратить. Выдали нам пачпорта — отпустили на четыре стороны. До весны прожили мы в Москве за рекой Яузой, у стрелецкой вдовы, а чуть стало теплее — поклонился я Никанору в землю, попросил благословения и ушел по Курской дороге. Шел — все песни пел.

Около Курска меня поймали драгуны как бродягу и забрили в солдаты. Сначала бегал, конечно, — ловили и пороли сильно. Только от злости и жив остался. Потом по привычке и научился грамоте. В то время можно было из простых в люди выходить, и я первую нашивку получил в баталии, когда били мы генерала Левенгаупта.

А месяца за три до этого послан я был в Борщаговку в гетманский обоз за порохом. Подъезжаю на вечерней заре. Смотрю — за селением на поле стоит высокий помост, кругом — в две шеренги солдаты при оружии и с барабаном. За ними казаки, бабы, простой народ. На помост вводят двоих, развязали им руки, они крестятся.

Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь... Господи, Кочубей!.. Старый, седой, бородой оброс, голова трясется. Палач схватил его за курчавые волосы, прыгнул к плахе и ударил топором по шее, как мясо рубят...

У меня глаза закатились, закачался в седле. Народ валит назад, расходится... И мимо меня на вороном жеребце едет шагом худой, носатый старик в белом кафтане, лицо землистое, глаза наполовину закрыты, на шапке дрожит, сверкает алмазное перо. Проехал, и вином от него сильно запахло.

Да... знать бы тогда мне в лицо гетмана Мазепу, — не разговаривал бы с вами сейчас!

А Матрену, говорят, казаки в обозе задушили попонами в ту же ночь...

ДЕНЬ ПЕТРА

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием.

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью.

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборвал; зачмокал губами, забормотал, и начался кашель, табачный, перепойный. Откашлявшись, плюнул. И на заскрипевшей кровати сел человек.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных сальных волос и мятую рубаху, расстегнутую на груди.

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунул в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутой вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь во сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий позвал густым басом:

— Мишка!

И солдата точно сдуло с лежанки. Не успев еще разлепить веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дернув носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы.

— Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын,— тем же неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полный оборот и, выбрасывая по-фронтovому

ноги, вышел. И сейчас же за дверь, сквозь которую проник на минуту желтый свет свечей, зашептало несколько голосов.

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнувшие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подозрительной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду, — на подоконнике, стульях и полу, — в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышками, другие — в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, — криво, из-под черных буклей торчали собственные волосы — рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светил лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами — следами бессонных ночей и водки.

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.

Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший

в Москве его глаза, говорил, что Петр — антихрист, не человек.

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскорузлыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдерживать гримасу, усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал набивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. Захрипев чубуком, Петр сказал:

— Поди разбуди, выпусти,— и подал ключ от шкафов, куда запирались на ночь остальные три денщика. Шкафы эти устроены были недавно, после того как обнаружилось, что, несмотря на угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «девкам сверху» — фрейлинам.

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:

— Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепоею.

Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не дышали. Господи, пронеси!

— Селитры на сорок рублей, шесть алтын и две деньги. Где селитра? — спрашивал Петр.— Овес, по алтыну четыре деньги, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?

— Во Пскове, на боярском подворье, в кулях по сей день,— пробормотал светлейший.

— Врешь!

Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосмотрительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиной, хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный царский кулак

ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук губами. Грозу пронесло пустяком.

Так началось утро, обычный, буднишний питербургский денек.

А дела было много. Покончить с воровскими счетами князя Меншикова; написать в Москву его величеству князю-кесарю Ромодановскому, чтобы гнал из Орла, Тулы и Галича в Питербурх плотников и дроворубов, «по-неже прибывшие в феврале людишки все перемерли, и гнать паче всего молодых, чтобы на живот и ноги не ссылались, не мерли напрасно»; да написать в Лодийное Поле, «что на недели сам буду на верфи»; да написать в Варшаву Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилю, чтобы прислал полпива доброго дюжины три, да чесноку связку, да шпику. Окончив занятия, письма, приказы регламент — ехать надо на новую верфь, где строится двухпалубный линейный корабль; побывать на пушечном заводе и на канатном; завернуть по пути к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-куме рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора на соляной заставе; походить по постройкам на набережных и на острове; в двенадцать часов — обед, и сон — до трех; отдохнув, ехать в Тайную канцелярию, где Толстой Петр Андреевич, Ушаков да Писарев допытывают с пристрастием слово и дело государево. А вечером — ассамблея по царскому приказу. «Быть всем, скакать под музыку вольно, пить и курить табак, а буди кто не явится — царский гнев лютый».

Дела было много.

Сырой ветер гнал сильный туман с моря; шумел поредевший ельник на Васильевских болотах;гнулись высокие сосны, кое-где еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то время пустело домов, потому что народ мер до последней степени от яз-

вы, туманов и голода. Лихое, невеселое было житье в Питербурхе.

Вздувшаяся река била в бревенчатые набережные; качались, трещали крутобокие барки; снег и косой дождь наплюхивал целые озера на площадях и улицах, где для проезда брошены были поперек бревна, доски, чурбаны.

На черном пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостиного двора, что на Троицкой площади, торчали четыре виселицы, и ветер раскачивал в тумане четырех воров, повешенных здесь на боязнь и великое страхование впредь. По берегам реки, вдоль Невской Перспективы, уже обсаженной с обеих сторон чахлыми деревцами, стучали топоры, тянулись тачки с песком, тележки с известью, булыжником, кирпичами. В грязи, в желтом тумане, на забиваемых в болотный ил сваях возникали каждый день все новые амбары, длинные бараки, гошпитали, частные дома переселяемых бояр. Понемногу все меньше становилось мазаных, из ивняка и глины, избенок, где еще недавно жили Головин, Остерман, Шафиров. Только проворный светлейший уже давно успел выкатить себе деревянные палаты с башней, как у кирки, и присматривал местечко для каменного дворца.

Многие тысячи народа, со всех концов России — все языки, — трудились день и ночь над постройкой города. Наводнения смывали работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и снова тянулись по топким дорогам, по лесным тропам партии каменщиков, дроворубов, бочкарей, кожемяк. Иных ковали в железо, чтобы не разбежались, иных засекали насмерть у верстовых столбов, у гиунской избы; пощады не знали конвоиры-драгуны, бритые, как коты, в заморских зеленых кафтанах.

Строился царский город на краю земли, в болотах, у самой неметчины. Кому он был нужен, для какой муки еще новой надо было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами, — народ не знал. Но от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля. А если кто и заикался от накипевшего сердца: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, и так мы от подвод, от поборов и от податей разорились, а ныне еще и сухарей спрашивают; государь свою землю разорил и выпустошил; только моим сухарем он, государь, подавится», — тех неосторожных, заковав руки и ноги в

железо, везли в Тайную канцелярию или в Преображенский Приказ, и счастье было, кому просто рубили голову: иных терзали зубьями, или протыкали колом железным насквозь, или коптели живьем. Страшные казни грозили всякому, кто хоть тайно, хоть наедине или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти муки, не приведут ли они к мукам злейшим на многие сотни лет?

Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю. Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства непомнящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет за собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; робостью и ужасом охвачено было все государство.

Пустели города и села; разбежался народ на Дон, на Волгу, в Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали драгуны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали волки, драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело крестьянство, грабили воеводы и комиссары.

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалившимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрельцовой вольницей.

Налетел с досадой, — ишь угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли,

мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстанавливали родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся,— куда тут! Разъярилась царская душа на такую непробудность, и полетели стрелецкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоянной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много.

В нагольном полушубке, в оленьем, надвинутом на уши колпаке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жавшегося сбочку, выехал со двора.

Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша зачмокал копытами; скоро ехать было нельзя: таратайку сильно подбрасывало на бревенчатой, уже разъезженной мостовой, валило в рытвины, полные грязи.

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Солнце висело низко и то за-слонялось серыми пеленами, то выплывало из них, багровое, несветлое, северное, и клубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтоватый, промозглый туман.

Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, многопушечные корабли, выдувавший изо всех закоулков залежалый дух российский.

И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смиренные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность, — окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены.

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был приказ: «Ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит».

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:

— Гут морген, герр Питер!

И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:

— Гут морген, герр Мюллер!

На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с известью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с лотком пирожков, мальчишка, покры-

тый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарывался в волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный беспорядок.

А беспорядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах; глаза провалились и горели люто; узкая бороденка металась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знаменнии, он кричал пронзительно дурным голосом:

— Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А те знаки — чем людей клеймить, и сам государь по ним ездил, и привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно...

— Верно... верно... — зароптала толпа. — Сами слышали... Клейма привезены... Вот такой же кричал намедни.

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнать народ. Иные отошли, другие теснее, как овцы, сдвинулись к бочонку... Рваный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем, кричал:

— Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь будет пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте... В Москве мясо всех уж заставили есть в сырную неделю и в великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет государь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб описывать, и каждому будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнее время настало... Антихрист пришел. Антихрист...

Крестясь и отплевываясь, пятились мужики. Иные побежали. Закликали бабы... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с пирожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по головам и спинам. Рваный

слез с бочки и пошел, наклонив голову. Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса.

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косился на подходившего царя: дело было нешуточное — бунт и его, полицеймейстера, недоглядка.

«Пропал, пропал, пришибет на месте», — торопливо думал он, крутя за виски покорную голову.

— Что? Кто? Почему? — отрывисто, дергая щекой, спросил Петр, и сам, схватив сзади за полушубок вятского мужика, приблизил его тощее, с провалившимися щеками, смиренно-готовое к неминуемой смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно выпил всю его нехитрую мужицкую правду.

«Господи Иисусе», — посиневшими губами пролепетал вятский. Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину:

— Причину нарушения работ, господин обер-полицеймейстер, извольте рапортовать.

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал:

— Пирожник пироги принес, народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие, пирожника едва не задавили, пироги все потоптали.

Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории, — гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее:

— С чем пироги?

— С грибами, ваше величество.

Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил.

— А этот, ваше величество, — Ивашин сапогом пихнул вятского мужичка в ноги, — всем им, ворами, зачинщик, крикун и вор.

— Батогов! — Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, попевал за ним.

Вдоль топкого берега, куда били, расползаясь, черно-ледяные волны, копошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и туляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках, с меховыми ушами, одетые в оленьи кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей.

— Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся... — пошли негромкие голоса по всему берегу. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти изнуренные, цинготные, покрытые лишаями и сыпью строители великого города «бодро и весело», как сказано в регламенте работ, били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых свай.

Все эти люди были, как духи земли, вызваны из небытия, чтобы, не ропща и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, овладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем.

Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы поднять на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ошипанных елей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится северное солнце.

Грызая ноготь, Петр исподлобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стояли длинные бараки с дегтем, пенькой, чугунными отливками; кругом строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой из каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город!

А тут еще пирожки какие-то мешают.

В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку —

было ровно половина одиннадцатого — и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот.

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачта, заскрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с поручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела на гребень и пошла через Неву.

Петр проговорил сквозь зубы:

— Ветерок, Степан, а?

Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул.

— Был норд на рассвете, ободняло, — ишь на норд-вест повернул.

— Врешь, норд-вест-вест.

На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хотя с Петром Алексеевичем были они и давнишними приятелями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходилось.

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажен на полтораста высокая, из крепких бревен, пахнувшая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и, все так же спеша и на ходу махая руками, пошел к пеньковым складам.

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издали слышали косолапые и тяжелые шаги царя и, заслышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу.

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторослью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на тысячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного тумана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, слюдяные окошки домиков и стволы сосен — все отдавало этим пыланием; и не яркими, бледными казались сыплющие искрами большие костры, разложенные на местах работ.

Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, ударил и далеко покотился выстрел, затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам.

У бревенчатых длинных и низких строений с высокими крышами дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким сбитнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть в зернь, в кости, покурить табачку; гнусили калеки и бродяжки; толкся всякий людишко, норовивший пограбить, поживиться, погреться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь — пропускали.

Во втором васильевском бараке, так же как и повсюду, усталые и продрогшие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою чашку усатому унтеру, говорившему поминутно:

— Легче, ребята, осаживай!

Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, помалкивая: пищу-де хаить нельзя — государева. Хлеб покупали на свои деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз.

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесанные стены и множество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных веревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страху и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано — не баловать, а пуще всего зря языком не трепать.

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы не слушал, чего не надо, и в барак пробирался лихой человек — Монтатон, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на платке все свое хозяйство: склянку с вином, зернь, табак и кости, начинал скрести ногтем — скрр, скрр, здесь, мол, дожидаемся.

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели беседу, кидали кости, звенели ко-

пейками и осторожно, чтобы не было великого шума, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. Проводили время.

Да и не все ли было равно — ну, застанут и засекут: на царевой работе никто еще больше трех лет не вытягивал.

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, зевал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут:

— Отец Варлаам, а как же он нас печатать станет?

— Промеж среднего и большого пальца, тебе говорят, дура.

— Отец Варлаам, верно это?

— Верно,— отвечал давешний вопленный голос,— клейма те железные, раскалят и приложат, и на них крест, только не наш, не христианский.

— Господи, что же делать-то? А если я не дамся?

— А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерах круг тебя, и на бочках ездить, и баб без одежды будут казать.

— Верно, верно, ребята, на прошлую масленицу сам видел,— на бочках ездили и бабы скакали.

— А что же я вам говорю!

Солдат, видя, что не Монтатонова это кумпания подает голос и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду и сказал, заглянув под темные нары:

— Эй, кто там бормочет, черти? Не спите!

Голоса затихли сразу: кто-то ноги босые поджал. Солдат постоял, нюхнул табачку и сказал еще:

— Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете государя нашего приказ строгий: в рабочих помещениях не разговаривать, только для ради пищу попросить, али иглу, али соли. Ныне строго.

И только он приноровился запустить вторую понюшку под усы в обе ноздри, как вопленный голос закричал на все темное помещение:

— Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот не государь, давеча сам видел,— у него лица нет, а лицо у него не человеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обманули нас, православные!..

Но тут солдат, бросив рожок с табаком и алебарду, закричал «караул!» — и побежал к выходу, расталкивая лезущий вниз с нар перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгнула баба где-то под рогожей; другая, выскочив к лучине, забилась, заквакала. «Бейте его!» — кричали одни. «Да кого бить-то?», «Давют, батюшки!» Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймали его, вырвали полголовы волос.

И ввалился, наконец, караул, с факелами и оружием наголо. Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков со всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко:

— Арестовать всех. В Тайную канцелярию.

Тайная канцелярия занимала довольно большую площадь, огороженную высоким частоколом. Главный корпус построен из кирпича, а все пристройки — тюрьмы, клетки, казематы — бревенчатые, и все время пристраивались, так как не хватало места для привозимых отовсюду государственных преступников.

В главном корпусе, низком, красном здании, крытом черепицей, с толстыми стенами и небольшими, высоко от земли, решетчатыми окошками, помещались: прямо — низкая комната с дубовыми, вдоль стен, лавками для ожидающих под караулом, направо — комната дьяков, налево — кабинет начальника Тайной канцелярии, и оттуда кованная железом дверь вела в застенок, сводчатое помещение с коридорами и камерами. Сзади во дворике валялись — разный инструмент, нужный и ненужный: рогожи, связки прутьев, ржавые кандалы, кожи, гробы; и стояли «спицы» — самое страшное орудие пытки, редко применяемое.

Все комнаты были оштукатуренные и уже грязные от пятен сырости, прикосновения рук и спин. Везде каменный, захоженный грязью пол, крепкие дубовые столы и лавки.

Место было суровое, только в кабинете начальника день и ночь пылал камин, потому что Толстой был зябок и часто, чиня допрос, придвигал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как путается обвиняемый да дьяк скрипит гусиным пером.

В восемь часов бухнула наружная дверь, и в комнату, где у стен сидели попеременно колодники и солдаты, вошел Петр; прищурился на то место, где в густых испарениях плавал свет сального огарка, неясно освещая лысину нагнувшегося над бумагой дьяка и бледные лица вскочивших в испуге колодников, приложил пальцы к ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокрого полушубка и, нагнувшись, шагнул в кабинет председателя.

— Ну, ну, сиди,— проворчал царь в сторону Толстого и, сев перед камином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные подошвы сапог.— Паршивый народ, не умеет простой штуки — стропила связать, дурачье,— продолжал он, явно желая похвастаться.— Шафиров инженера выписал из Риги, хвастун и глупец к тому же. Я на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила. Запищал инженерик: «Дас ист унмеглих, герр гот». А я сгреб его под париком за виски: это, говорю, меглих, это тебе меглих?..

Ухмыляясь, он вынул короткую изгрызанную трубочку, пальцами схватил уголек из очага, покидал его на ладони и сунул в трубку. Толстой сказал:

— Ваше величество, дело пономаря Гультяева, что в прошедшем месяце у Троицы на колокольне кикимору видел и говорил: «Питербурху быть пусту», разобрано, свидетели все допрошены, остается вашему величеству резолюцию положить.

— Знаю, помню,— ответил Петр, пуская клуб дыма.— Гультяева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и на каторгу на год.

— Слушаю,— нагнувшись над бумагами, проговорил Толстой.— А свидетели?

— Свидетели? — Петр широко зевнул, согрившись у огня.— Выдай им пачпорта, отошли по жительство под расписку.

В это время стукнули в дверь. Толстой строго посмотрел через очки и сказал, поджав губы:

— Войди.

Появился давешний крепколицый офицер; выкатив грудь, держа руку у шпаги, другую у мокрой треуголки, отрапортовал, что по государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек мужска и женска пола,

приведено за частокोल, прошу-де дальнейших распоряжений.

Толстой, прищурясь, пожевал ртом; большой лоб его, с необыкновенными бровями — черными и косматыми, покрылся морщинами.

— На кого же ты слово государево говоришь? На кого именно? — спросил он. — На всех девяносто восемь человек говоришь, так ли я понимаю?

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя статуей. Царь, вытянув ноги, глядел круглыми глазами в огонь, время от времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказный дьяк, поклонился царскому креслу и сейчас же, присев у своего столика, записал, водя кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на середину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, склонил к плечу хитрое, ленивое лицо, оглядывая оторопелого офицера, и сказал в нос:

— Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвиняешь, а со свидетелями и вся тысяча наберется. Добрый полк. Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги исписать придется? И, боже мой, вот задал работу! Чего же ты молчишь, друг мой, али испужался?

И при этом с улыбкой покосился на царя и захихикал, отряхивая тонкими пальцами с кафтана табак. Офицер срывающимся, взволнованным голосом пробормотал:

— Ваше превосходительство, в бараке втором, васильевском, поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяга Варлаам с товарищи...

И, не кончив, офицер дрогнул и попятился: с такою силой отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня и, поднявшись во весь рост, засопел, багровый и искаженный, сыпля горящий пепел из трубки:

— Ну, веди его сюда...

Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, заговорил торопливо:

— Веди его, веди одного пока, да не сюда, а прямо в застенок. Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом крепко... Головой отвечаешь! — пронзительно крикнул он, подсакивая к офицеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел.

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, криво усмехаясь:

— Говорил я вам, ваше превосходительство, — Варлаам в Питербурхе. Вы не верили.

— Ваше величество...

— Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не слетела.

Петр с силой толкнул железную дверь и, нагибаясь, пошел по узкому проходу в правешнюю. Толстой же постоял минуту в неподвижности, затем, поднеся холодную, сухонькую ладонь ко лбу, потер его и, уже торопливо захватив под мышку бумаги и семена, вышел вслед за государем.

Так началось огромное и страшное дело о проповеднике антихриста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатилась по России.

Варлаам уже сорок минут висел на дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головою руки его были подтянуты к перекладине ремнем; голова опущена, спутанные пряди волос закрывали все лицо, мешались с длинной бородой; обнаженное, с выдающимися ребрами, вытянутое и грязное тело его было в пятнах копоти, и сбоку стекал сгусток крови: Варлааму только что дали тридцать пять ударов кнутом, а спереди попалили вениками. Грязные ноги его, с поджатыми судорожно пальцами, были охвачены хомутом и привязаны к бревну, на котором, вытягивая все его тело, стоял дюжий мужик в коротком тулупчике — палач.

Напротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кирпичные своды, сидели: Петр, развалясь и закинув голову, с надутыми жилами шеей, посредине — Толстой и направо от него — огромный, похожий красным лицом на льва, угрюмый человек — Ушаков; он был без парика, в лисьей шапке и бархатной, с косматым воротником, шубе.

— Не снять ли его, кабы не кончился? — проговорил Толстой, просматривая только что записанное показание. Ушаков, глядя неподвижно на висящего и свистя заложенным от табаку и простуды горлом, сказал:

— Дать водки, очухается.

Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шепотом сказал в темноту за столбы:

— Вась, Вась, поправее, в уголышке там склянка.

Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. Вдвоем они запрокинули голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застонал негромко, почмокал, затем закрутил головой... И на Петра опять, как и давеча, уставились черные глаза его, блестящие сквозь пряди волос. Толстой вслух стал читать запись дознания. Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:

— Бейте и мучайте меня, за господа нашего Иисуса Христа готов отвечать перед мучителями...

— Ну, ну,— цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за руку и перегнулся на столе, вслушиваясь.

— Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя цари были, не убоюсь лютости! — с передышками, как читая трудную книгу, продолжал Варлаам.— Тело мое возьмешь, а я уйду от тебя, царь. На лапах на четырех заставишь ходить, в рот мне удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей землей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко сидишь, и корона твоя как солнце, и не прельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.

Петр проговорил, разлепив губы:

— Товарищей, товарищей назови.

— Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье.

— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули. Парень с женским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми глазами на царя.

— Варлаам! — повторил Петр.

Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.

— Снять,— сказал он,— ввернуть руки. На завтра приготовить спицы.

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с еще волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при свете двухсот свечей, танцевали грос-фатер. Четыре музыканта — скрипка, флейта, фанфары и контрабас — дудели и пилили, обливаясь потом.

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому тяжелых — до пуда весом — платьях, без украшений,— драгоценности в то время были запрещены,— но нарумяненные, как яблоки, и с густо насурмленными в одну линию черными бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыгивали по вощепому полу, в общем кругу танцующих.

Посредине круга стоял герой мод и кутежей — Франц Лефорт, дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. Помахивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным башмачком.

Мимо него проносились, подпрыгивая, и перепуганный, потный прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми суконным сюртуком, и долговязый, презрительный остзеец, с рыбьим взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, наглый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, где он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон...

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы.

И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиною бородкой сухонький человек, одетый в дяконский парчовый стихарь и с картонной золотой митрой на лысой голове — князь Шаховской, «человек ума немалого и читатель книг, но самый злой сосуд и пья-

ный», второй архидьякон всепьянейшего собора и царский шут.

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вощеному полу. В залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые кулаки. Лицо его было бледно и презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпятив губу, проговорил гнусаво: — Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем? Вздрогнул Петр, оскалась обернулся и с кривой усмешкой сказал:

— Тройной перцовой, ваше святейшество.

Не шутка — варево адское была тройная перцовая. Человека валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедля определил и свое поведение: подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому:

— Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, противник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился, о чем думаешь, а я не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя противные мысли?

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем в побледневшее от таких намеков лицо придворного, и смеялся визгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да закидывая глазок в сторону государя.

Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Светлейший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блесками, наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и посылал гостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть во хмелю на потеху государю.

Петр, шурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с бóльшим еще трудом хмелея. Есть он мог много,— всегда, было бы что под рукой.

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовою. Но красное, с толстыми, круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук,— по-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями? Или в Москве опять беспокойно? Или кто-нибудь здесь из сидящих провинился?

Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил, морщась от подперевшей отрыжки:

— Ну-ка, архидьякон, подь сюда.

Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, приблизился.

— Во имя отца моего Бахуса и Венерки, шленды, девки греческой, вопиющий ко мне насытится, и зовущий меня упьется,— загнул он, закрывая голые, желтоватые глаза.

— Я с тобою не шучу,— перебил Петр, и внезапно вздулась жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел гостей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусские офицеры.— Я тебя в шуты не нанимал, сам просился.

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку.

— Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестарался. Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, пожалуй — царский шут...

Он не закончил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, скрипнул ими, сдерживая гримасу.

— Боюсь твоим стараньем, да, да... стараньем чрезмерным, как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами... Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Рогатый колпак небось пригожее мне, чем корона...

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, тем-

ный их смысл усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно оглянулся, отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший, привыкший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой, по-мужицки:

— Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, не жалко,— и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру и подал царю.

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом надвинул на голову картонный колпак.

— Архидьякон,— закричал он,— князю земли кланяйся, поклонись, аминь.

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой и стал лить ее князю в разинутый рот.

Шаховской, булькая, пил. Оторвался, собачьими, страдающими глазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец коленки его начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах поднялись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо рта по стихарю.

— Будя,— прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю сильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крикнул музыкантам:

— Чаше, чаще! — подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, взмокшую боярыню — княгиню Троекурову.

Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, для совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на потребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр угомонился, прислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меньшиков подбежал на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул с пьяным весельем:



«ДЕТСТВО НИКИТЫ»



«ДЕТСТВО НИКИТЫ»

— Ну, ну, идем,— и, широко шагая и махая руками, проследовал впереди светлейшего во внутренние покои.

Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость.

— Иди, иди к гостям, без тебя уеду,— закашлявшись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замерзшими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вдалеке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах — ночной караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами.

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы притворным своим ласканьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роптала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только желтели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку.

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно прислушивался, как из этой сытости снова, не вовремя, когда спать просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, голодная.

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижанах, верхом и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских чугунолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит: коротки дни, мало одной жизни...

— Лошадь! — сказал Петр.

Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двуколка с рябым, скрюченным от холода солдатом... Петр грузно влез в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнего старичка каракового, перебирая ногами, начал было приседать, подкидывать передом.

— Шалишь! — крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жеребца, махнувшего раза три в оглоблях и затем размашистой, легкой рысью понесшего валкую двуколку в темноту. На дороге испуганно посторонился ночной караул и далеко вдогонку крикнул: «Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке:

«Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он на вороной лошадищи как дунет мимо нас вихрем, лошадища огромная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком виде ездить: уж больно велик, темен».

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и спотыкаясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри, не видишь кто...» — и, перебежав дворик, сильно хлопнул наружной дверью.

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.

— Кто тебе велел слова про меня говорить? — спросил Петр негромко, почти спокойно.

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:

— На, возьми руку, пощупай, — человек, не дьявол. Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.

— Рук не могу поднять, свернуты, — сказал он.

— Много вас, Варлаам? Скажи, пытаться сейчас не стану, скажи так.

— Много.

Петр опять помолчал.

— Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.

Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:

— Говори, что же ты.

И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего — антихрист», и что на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятыя багородицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти просфорах больше не велено, и что скорописные новые требники, где пропущено «и духа святого», те попы рвут и топчут ногами, и в мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.

Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье:

— Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка — наплели... Тьма непролазная.

И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:

— Эх ты, батюшка мой...

Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:

— Ну, Варлаам, видно мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.

— Прощай, батюшка!

Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех.

Моему сыну
Никите Алексеевичу Толстому
с глубоким уважением посвящаю
Автор

ДЕТСТВО НИКИТЫ

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

— Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь,— садись и поезжай.

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

В каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных, пахучих стружек Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края — с носа — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точеные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе,— после этого она делалась, как зеркало, к верхней доске привязывалась веревочка — возить скамейку, и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, говорит, что я сказал — закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто еще, должно быть, не встал. Ес-

ли одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чистения зубов, то через черный ход можно удрать на двор. А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы, — садись и лети...

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

— Встаешь, разбойник?

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное, — поправил очки и поглядел на двор.

— У крыльца стоит, — сказал он, — замечательная скамейка.

Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо, — ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахару, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется,

ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо», — значит, это нужно понимать: «А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома».

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в кадке и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.

— Мама, честное слово, страшная жара, — сказал Никита.

— Прошу тебя надеть башлык.

— Щеки колет и душит, я, мама, хуже простужусь в башлыке.

Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос у нее дрогнул:

— Я не знаю, в кого ты стал неслухом.

— Идем заниматься, — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с, — сказал он бодро, — на чем остановились? — И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...» — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куска сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.

— Ну, что же ты думаешь, Никита? — спросил Аркадий Иванович.— Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?

Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куса сукна вошли в стену, завернулись пылью..

Аркадий Иванович сказал: «Ай-ай!» — и начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения — «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку».

Наконец с арифметикой было покончено, начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым, сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать:

— «...Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен...»

Высунув кончик языка, Никита писал, перо скрипело и брызгало.

Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку:

— Что, почту привезли?

Никита совсем опустил голову в тетрадку,— так и подмывало засмеяться.

— Послушен и прилежен,— повторил он нараспев,— «прилежен» я написал.

Аркадий Иванович поправил очки.

— Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны... Чего ты смеешься?.. Кляксу посадил?.. Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв.

Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки:

— Александра Леонтьевна, что — письма мне нет?

Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо.

СУГРОБЫ

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел — сделано прочно, попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем, — каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам, в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, — Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс — и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил

лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг, там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то недалеко, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, — снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет, — было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезывать на верхней доске имя — «Вевит».

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал, Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары... Впрочем, прощай, я ухожу...

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты все-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчет приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца.

— «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили.— При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать.— Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводку. А вот и еще новость,— на праздники к нам собирается Анна Аполосовна Бабкина с детьми...»

— Дальше не интересно,— сказала матушка и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой:

— Ничего не знаю.

Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками: «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал невпопад и нет-нет — да и вытаскивал из кармана какое-то письмо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна.

В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка Коряшонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города.

Мишка Коряшонок, постукивая зубами от холода, сказал:

— Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка,— завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?

— Ладно.

Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы».

За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большой печью — тр-тр, тр-тр — пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица.

Всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, восходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся — за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги:

— Ветер поднялся к ночи, будет буран.

СОН

Никита увидел сон, — он снился ему уже несколько раз, все один и тот же.

Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна — большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит:

Вот напротив, у белой, как мел, стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов, качается, отсвечивает лунным светом. Над часами, на стене, в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него — старушка, в чепце и шали, и смотрит, поджав губы. От часов до угла, вдоль стены, вытянули руки, присели, на четырех ногах каждое, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся.

Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается

остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой.

Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевелинуть,— не шевелится,— и страшно, страшно,— вот-вот будет беда...

Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает,— если тронет он лапой — маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света.

От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу... Собрал всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол! И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате — два морозные окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги.

«Господи, слава тебе, господи!» — Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами.

Но не успел он зажмурить глаза, видит — опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрят старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Ближе у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом — старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами.

Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке, на дне, лежало что-то — не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит».

Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.

Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил:

— Вставай, вставай, девять часов.

Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки.

— Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем.

— Почему?

— Потому, что потому оканчивается на у. Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай.

Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу:

— Рождественские каникулы! — Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое: именно — свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».

СТАРЫЙ ДОМ

На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней, — делай, что хочешь. Стало даже скучно немного.

За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар, уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку, — что-нибудь ковырять.

Матушка, наконец, сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле».

Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат, с залом посредине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю, хрустальные люстры висели, окутанные марлей, на полу в зале лежала куча яблок,—гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину.

Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никита постучал пальцем в стекло, ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей.

Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами.

Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее,—он не раз это слышал от матери,—с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкафом,—тощий востроносый старичок с запавшими глазами; рукою в перстнях он придерживал на груди халат; сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок.

Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал,—гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили карауль-

щики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны.

Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду,— искали целую неделю, так он и пропал. А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо: «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы».

Причиною всех этих странных явлений была дама в амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением.

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.

У КОЛОДЦА

Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку Коряшонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы — кожаной рукавицы, надетой на руку.

Никита спросил, зачем он это делает. Мишка Коряшонок ответил:

— Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет,— страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?

— А когда?

— Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори.

— Мама отпустила, только не велела драться.

— Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит,— Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты — брык.

— Ну, со Степкой-то я справлюсь,— сказал Никита,— я его на один мизинец пушу.— И он показал Мишке палец.

Коряшонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом:

— У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой, там ему кулак заговаривали, лопни глаза — не вру.

Никита задумался, — конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет — трус.

— А как же ему кулак заговаривали? — спросил он. Мишка опять сплюнул:

— Пустое дело. Перво-наперво возьми сажи и руки вымажи и три раза скажи: «Тани-бани, что под нами под железными столбами?» Вот тебе и все...

Никита с большим уважением глядел на Коряшонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы, — стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый, уставился на Мишку белыми, пегими глазами, топнул ножкой, Мишка сказал ему: «Бездельник», — и баран бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду.

Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял:

— Саааами безде-е-е-ельники.

Когда Никиту с черного крыльца стали кричать — идти обедать, Мишка Коряшонок сказал:

— Смотри, не обмани, пойдём на деревню-то.

БИТВА

Никита и Мишка Коряшонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой», — со дна пруда поднимались болот-

ные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.

— Смотри, никому про это не говори,— сказал Мишка,— мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — громаднейшая, целый день будет гореть.

Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню.

В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.

Избенку бобыля, дурачка Савоськи, завалило совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски — за глупость.

На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне,— до того был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона,— он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья: Семка, Ленька и Артамошка-меньшой.

Мишка, подойдя к избе, свистнул, Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки.

— Эх, вы,— сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо,— эх, вы — девчонки... Дома сидите,— забоялись.

— Ничего мы не боимся,— ответил один из конопатых, Семка.

— Тятка не велит валенки трепать,— сказал Ленька.

— Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются,— сказал Артамошка-меньшой.

Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно:

— Идем дражнить. Мы им покажем.

Конопатые ответили: «ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы,— отсюда за Артамоновой избой начинался другой конец деревни.

Никита думал, что на кончанской стороне кишмя-кишит мальчишками, но там было пусто и тихо, только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатались через улицу мимо амбарушки и — дальше по крутому берегу на речной лед.

Мишка, а за ним конопатые мальчики и Никита начали кричать с сугроба:

— Эй, кончанские!

— Вот мы вас!

— Попрытались, боятся!

— Выходите, мы вас побьем!

— Выходите на одну руку, эй, кончанские!— кричал Мишка, хлопая рукавицами.

На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать:

— Очень вас боимся!

— Сейчас испугались!

— Лягушки, лягушата, ква-ква!

С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алешка, Нил, Ванька Черные Уши, Петрушка — бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков пять-шесть. Они кричали:

— Эй, вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!

— Кузнецы косоглазые, мышь подковали!— кричал с этой стороны Мишка Коряшонок.

— Лягушки, лягушата!

Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек. Но начинать — не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали: «Лягушки, лягушата!», с этой: «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста, широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развальцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул:

— Лягушата, выходи, один на один!

Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком.

Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли насупясь. Алеша и Ванька Черные Уши подались назад, маленький мальчик в мамином платке тарашил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву, Мишка Коряшонок ворчал, оттягивая кушак под живот:

— Не таких укладывал, тоже — невидаль. Начинать неохота, а то — рассержусь, я ему так дам — шапка на две сажени взовьется.

Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим:

— Вали, ребята!

И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба.

Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька Черные Уши и, наконец, все мальчишки, побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел.

Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших, — кто упал, кто лег сам со страха, — лежачего бить было нельзя.

Никите стало, — хоть плачь, — обидно и стыдно: струсил, не принял боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки.

Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег.

— Эх, ты, — сказал он, — будя...

Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту, с криком: «Наша берет!» — всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов пять, куда все они не легли.

Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел, Степка глядел на него исподлобья.

— Ты здорово мне дал, — сказал он, — хочешь дружить?

— Конечно, хочу, — поспешно ответил Никита.

Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал:

— Давай поменяемся.

— Давай.

Никита подумал, что бы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку — бабку, налитую свинцом:

— На. Не потеряй, дорого стоит.

ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером Никита рассматривал картинки в «Ниве» и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало.

Вот нарисовано: стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у нее — цветы, на плече и у ног — голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами.

Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять — для чего она нарисована. В объяснении сказано:

«Кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека? (Далее про голубей Никита пропустил.) Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник, Ганс Вурст, изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите —

один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любит украдкой на эту картину».

Никите представилось, что эта Эльза покормит, покормит голубей, и делать ей больше нечего — скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке — сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит, да так и пойдет, оскалясь, по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое, и свет солнца — серый.

Никита помуслил карандаш и нарисовал дочери пастора усы.

Следующая картинка изображала вид города Бузулука: верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке — дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи.

Никита зевнул, закрыл «Ниву» и, подпершись, стал слушать.

Наверху, на чердаке, посвистывало, подвывало протяжно. Вот загянуло басом — «ууууууууууу», — тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы.

Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, — должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики.

Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пепельные, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка — в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное: читать такую книжку — точно кирпич тереть.

На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж — Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышинные норы.

Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой

штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-юу».

— Мама, кто это свистит? — спросил Никита.

Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой:

— Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение что.

«Буууууууууу», — гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито.

Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице, у печной трубы, сидит «Ветер»: мохнатый, весь в пыли, в паутине. Сидит смиренно и, подперев щеки, воет: «Скуууучно». Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет.

Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову:

— Не пора ли тебе спать, мальчик?

— Нет, еще полчаса, пожалуйста.

Никита прислонился головой к матушкину плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька, — хвост кверху, весь вид — кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки:

— По какому делу явился, Василий Васильевич?

Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать.

Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Ахилка, хрюкнув, покатила с колен.

Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул:

— Приехали!

— Боже мой!— проговорила матушка взволнованно.— Неужели это Анна Аполлосовна?.. В такой буря...

Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.

Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом:

— Александра Леонтьевна, принимай гостей,— и, подняв руки, начала раскутывать платок.— Не подходи, не подходи, застужу. Ну и дороги у вас, должна я сказать — прескверные... У самого дома в какие-то кусты заехали.

Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор,— из-под него сейчас же рассыпались светлые, золотистые волосы,— и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь.

ВИКТОР И ЛИЛЯ

Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь глядели друг на друга.

— Я тебя помню,— сказал Никита.

— И я тебя отлично помню,— сейчас же ответил Виктор,— ты у нас в Самаре был один раз, ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали.

— Ну, этого что-то не помню.

— А я помню.

Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно:

— У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил ученьем. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.

Виктор усмехнулся.

— Я учусь в гимназии, во втором классе. Вот у нас так строго: меня постоянно без обеда оставляют.

— Ну, это что,— сказал Никита.

— Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячу дней ничего не есть.

— Эх,— сказал Никита.— Ты пробовал?

— Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет.

Никита зевнул, потянулся:

— А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил.

— Это кто Степка Карнаушкин?

— Первый силач. Я ему как дал, он — брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне — свинчатку,— я тебе потом покажу.

Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться.

— А я одной рукой Макарова словарь поднимаю,— дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол.

— Если быстро, быстро перебирать ногами,— можно летать,— сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору.

— Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают.

Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка, лет девяти, сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполло-совна гудела басом: «Дайте мне полотенце».

Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась.

Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и ярче ленты, а длинные ресницы — как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой, — тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо, тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом:

— Тебе нравится моя сестра?

Никита не ответил и залился румянцем.

— Ты с ней осторожнее, — прошептал Виктор, — девочка постоянно матери жалуется.

Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно:

— Благодарю вас, тетя Саша.

Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иглками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между нимидвигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка, — им Лиля помогает себе шить.

У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а матушка сказала:

— Дети, идите шуметь на двор.

Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело

над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскалась и захлебываясь, очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицей, тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником.

— Что же мы будем делать? — спросил Виктор.

Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал:

— Эх ты, я вижу, тебе с девчонками только играть.

— Почему? — спросил Никита краснея.

— Да уж потому, сам знаешь, почему.

— Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.

Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка Коряшонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал:

— Баян, Баян, берегись, Никита!

Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами.

«Му-у», — отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.

— Виктор, беги! — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому.

Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-уу!»

Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык стал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно — третье слева от крыльца. В окне увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!

Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и «бесясь», Никита краешком мыслей думал:

«Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна,— оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь».

ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА

За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя, если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Аполлосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стеклашки под лампой.

— Нет и нет, Александра Леонтьевна,— гудела она,— учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками да и выгнала за дверь... Виктор,— вдруг воскликнула она,— нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей,— олухи царя небесного. Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?

— Синичкин.

— А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову... Виктор, как ты держишь вилку и нож?.. Не чавкай... Придвинься ближе

к столу... Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе?.. Да: привезла я целый чемодан разной дребедени для елки... Завтра надо заставить детей клеить.

— А по-моему,— сказала матушка,— надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем.

— Ну, делайте, как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед.

Анна Аполлосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма, но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон.

С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так: из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки две холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась каша. Тогда матушка налила в кашу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, крахмал стал прозрачный, как желе, — получился отличный клей.

Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, — с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.

— Там еще есть хорошие вещи,— сказала матушка, опуская руки в чемодан,— но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.

Виктор взялся клеить цепи, Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом:

— Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?

— Клей, милая, что хочешь.

Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили,— она сама это видела,— настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.

Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях.

— Что вы клеите? — спросил Никита.

Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — вполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных перчаток,— ответила Лиля серьезно,— вы мальчик, вы этого не поймете.— Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел.

— Какой вы красный,— сказала Лиля,— как свекла.

И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна и они об ней говорили:

— Вам нравится эта коробочка?

Никита ответил:

— Да. Нравится.

— Мне она тоже очень нравится,— проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант и ло-

коны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой:

— Какая коробочка, где коробочка?.. Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно надеваю.

— Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить,— проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола.

Виктор подмигнул Никите.

— Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее: ябеда.

Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:

— Виктор, ты спишь?

— Нет еще... Не знаю... А что?

— Слушай, Виктор... Я должен тебе сказать страшную тайну... Виктор... Да ты не спи... Виктор, слушай...

— Угум — фюю,— ответил Виктор.

ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ

Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в конце дверь,— это истопник вносил вязанки дров и кизяку.

Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное.

Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал,— куда? — и побежал к Аркадию Ивановичу.

Аркадий Иванович только еще проснулся и, лежа, читал все то же самое, тридцать раз им читанное, письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал:

— Необыкновенный случай! Встал раньше всех!

— Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший.

— День, братец ты мой, замечательный.

— Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить,— Никита поковырял пальцем притолоку,— вам очень нравятся Бабкины?

— Кто именно из Бабкиных?

— Дети.

— Так, так... А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?

Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор.

Над людской, над баней в овраге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на сине-мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались ресницы.

У крыльца на слегка дымившейся куче золы Шарок и Каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, напрямком через двор к Никите шел Мишка Коряшонок с дубинкой,— собирался гонять котяши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились воза. Один за другим они выползли из овражка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине.

Мишка Коряшонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал:

— Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли.

Воза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей.

Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инее. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным, крепким голосом крикнул задним возам:

— Эй, заворачивай к амбарам. Слухай! Последний воз к дому.

Всего в обозе было шестнадцать саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом.

Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое, с длинной красной полосой. У Никиты забилося сердце. На санях, с припряженными сзади вторыми салазками, лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце.

Так вот что был за подарок, обещанный в таинственном письме.

ЕЛКА

В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех, — дети ели только сладкое — шарлотку. В доме была суматоха. Мальчишки слонялись по дому и ко всем приставали — скоро ли настанет вечер? Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую

накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать,— ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонаправного мальчика. Неужели это был он?

— Ах, Никита, Никита,— проговорила матушка, целуя его в голову,— если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.

— Ты что думал — это привидение,— сказала она,— чего испугался? — и прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами.

Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать.

Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, слышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом: — Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок; в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути, дороги...

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро хороню, хороню... —

запели деревенские.

Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захопали хлопушки, запахло хлопущечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, поглядывая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился, — устроил цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила:

— Ты чего смеешься?

— Это ты смеешься, — ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но подошел ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет. — Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

НЕУДАЧА ВИКТОРА

Виктор подружился в эти дни с Мишкой Коряшонком и ходил с ним на нижний пруд зажигать «кошки». Одну «кошку» они запалили такую, что огонь вылетел из льда выше человека. Затем на канаве, за прудом, они построили крепость — башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо.

«Вы, кончанские, кузнецы косоглазые, мышь подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин».

Письмо это прибили к палке, Мишка Коряшонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленька и Артамошка-меньшой, Алешка, Ванька Черные Уши и Петрушка, бобылев племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону котяши и потом пошли с Мишкой Коряшонком и сели с ним в крепость.

Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать.

Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы:

— Никто к вам не придет, крепость ваша никуда не годится, я с вами играть не буду, пойду домой.

— С девчонкой связался, — крикнул ему Виктор со стены, — кавалер!

Артамоновы сыновья громко засмеялись, Ванька Черные Уши засвистал в согнутый палец.

Никита сказал:

— Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью, рук не стоит марать, — показал Виктору язык и пошел через пруд к дому.

Вслед ему полетели комья снегу, — он даже не обернулся.

В крепости ждали недолго: из-за занесенных ометов, со стороны деревни, показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать.

Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Припелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Карнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал:

— Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем...

Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Карнаушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька Черные Уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завывали, завизжали, засвистали, пошли на приступ...

Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.

ЧТО БЫЛО В ВАЗОЧКЕ НА СТЕННЫХ ЧАСАХ

Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила:

— Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье.

Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек.

Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел

на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства,— оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке.

Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение:

Уж ты лес, ты мой лес,
Ты волшебный мой лес,
Полный птиц и зверей
И веселых дикарей...
Я люблю тебя, лес...
Так люблю тебя, лес...

Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю.

Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок.

В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполосовна всплеснула руками:

— Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту.

— Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух,— мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать.

К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголкой, несколько звезд. Никита сказал:

— Хочешь, я тебе один стишок прочту, про лес?

Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати:

— Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи,— пусть он мне лучше не попадается.

— Знаешь,— сказал Никита,— в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя уви-

дать, но все про него знают... Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее,— проснешься и никак не можешь вспомнить... Понимаешь?

— Нет, не понимаю,— ответил Виктор,— и стихов твоих не хочу слушать.

Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь.

Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящичков огромного комода.

— Давайте с вами разговаривать,— задумчиво проговорила Лиля,— расскажите мне что-нибудь интересное.

— Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?

— Да, про сон расскажите, пожалуйста.

Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс.

Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом:

— Что же было в вазочке?

— Не знаю.

— Наверное, там было что-нибудь интересное.

— Но ведь это я во сне видел.

— Ах, все равно,— надо было посмотреть. Вы — мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?

— Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у бабушки стоят, сломанные.

— Пойдемте посмотрим.

— Там темно.

— Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста.

Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую.

Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запущены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Никита, вы ничего не боитесь?

Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам.

На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу — диван раскорякой. У Никиты закружилась голова, — точно такую он уже видел однажды эту комнату.

— Они смотрят, — прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене — на старичка и старушку.

Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.

— Кто это? — спросила Лиля, придвигаясь к Никите.

Он ответил шепотом:

— Это она.

Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула:

— Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!

Действительно, — в глубине кабинета, наверху старинных, красного дерева, часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка со львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал: это была вазочка из его сна.

Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.

— Нашел! — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол.

В это время из-за шкафа фыркнуло на него, — блеснули лиловые глаза, выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке.

Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита, — точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала:

— Ну?

Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.

— Колечко!

— Это волшебное, — сказал Никита.

— Слушайте, что мы с ним будем делать?

Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала:

— Нет, почему же мне, — посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.

Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил:

— Это тоже вам, — вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле.

Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво:

— Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполлосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так, будто режьте его, —

он все равно не скажет ни слова. Анна Аполлосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку, ладонью вниз, и сказала густым голосом:

— Нет, и нет, и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала,— значит, ножом отрезано; хорошенького понемножку. Вот что, дети,— она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился,— завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем.

Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.

Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда,— «завтра,— думал он,— у вас, у людей,— будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался,— мне и завтра будет хорошо».

Виктор и Лиля кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполлосовна крикнула вдогонку:

— Виктор!

— Что, мама?

— Как ты идешь!

— А что?

— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот она. Выпрямись... На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!

Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:

— Вы летом к нам приедете?

— Это зависит от моей мамы,— тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.

— Будете мне писать?

— Да, я вам буду писать письма, Никита.

— Ну, прощайте.

— Прощайте, Никита.

Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь; пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер»,— как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик,— Никита не сказал ни слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «А, ты все еще спишь»,— крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.

«...Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша,— выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами...»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука,—проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке,—его рука потянулась в карман за письмом.

Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки,—сегодня с матушкой было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером вместо глупых картинок,—сказала она,—будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал,—неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, громкий похихатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься,—говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами,—а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные

рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон — никакого виду». Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы... От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сельское хозяйство, — тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окаянные, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?

— А что? — отец барабанит в окно пальцами. — Великолепная машина.

— Я видела, — она стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко:

— Она уже сломана?

— Эти болваны американцы, — фыркнув, говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем.

Рисую реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна, — матушка напрасно сказала, что он его забыл.

Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительнице. Вот она, разлука-то!

Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля,

и сейчас ее нет. Какая грусть,— была, и нет. А вот — пятно на столе, где она пролила гуммиарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетели счастливые дни». У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой: «Пролетели счастливые дни» — и, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону,— через Парагвай и Уругвай к Огненной Земле.

— Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук,— спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделяет с картой Никита.

БУДНИ

Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одиночку и по двое, подходили по ночам к самой усадьбе.

Чужая волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими, тошными голосами — у-у-у-у-у...

Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу,— выше, выше, пронзительнее...

От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал спросонок:

— О господи, господи, грехи наши тяжкие.

В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху.

В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки,—кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом,—ее нашли, почистили немного и посадили шить.

Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал,—как он любил выражаться,—скачок: начал проходить алгебру — предмет в высшей степени сухой.

Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, сдохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечным «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем, да, когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин.

Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиной к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.

— Ты должен себе усвоить,— говорил он Никите,— что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру.

Поэтому вот,— он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем,— до сих пор они служат нам примером...

После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу:

— Если сегодня опять двадцать градусов — Никита гулять не пойдет.

Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник.

— Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна.

— Ну, вот, я так и знала,— говорила матушка,— по-ди, Никита, займись чем-нибудь.

Никита шел к отцу в кабинет, заехал на кожаный диван, поближе к печке, и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.

В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и над ним — предводителя гуронов — индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам — Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь — в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.

Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Преведние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Миш-

ка теперь сидел больше на людской, играл в карты — в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.

Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегомдохлую галку, — это была та самая галка: присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите — мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребницу и закопал в сугробе.

Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, — какое было счастье. А сейчас: колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках, — Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом.

Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, — пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.

Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович, — касторки.

Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер, с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками.

ГРАЧИ

В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Коряшонок, Лекся-подпасок и Артем — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках, и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребницу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то казалось, — на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был, — вез ли с гумна мякину, или чистил овцам ясли, — завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй. — Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот.

— Все насчет молока бегаешь, Дуня?

Тогда Дуняша приседала, — сил не было, смешно, — подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребницу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключнице Василисе: «Верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти, вот, матушки мои, умру!» — и так звонко смеялась, — по всему двору было слышно.

Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов, хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снега. У печи на лавке сидел Пахом, черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище: осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, шурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей, — очень был сердит: сегодня поругался со стряпухой, — она повесила сушить и прожгла его портянки.

У стола сидели игроки в чистых, по воскресному делу, рубашках, с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесаный: некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая:

— Замирил, да под тебя — десять.

— Замирил, да под тебя еще полсотни.

— А вот это видел?

— А ты это видел?

— Хлюст.

— Эх!

— Ну, Артем, держись!

— Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты. — Неправильно, ошибка.

— Подставляй нос.

Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза.

Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался.

Никита сел играть и сейчас же проиграл, — ему высыпали пятнадцать носов. В это время Пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово:

— Иные бы уж от обедни вернулись, а эти, — лба не перекрестили, — в карты. Только и глядят скоромное жрать... Степанида, — закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику, — собирай обедать!

На кухне Степанида, стряпуха, с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол, к бумажной, в тараканьих следах, иконке, стал креститься.

Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами; от них, застилая отвороченное лицо стряпухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов.

Пахом к столу не сел, взял только лопать и пошел опять к печи, на лавку. Стряпуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное.

— Портянки,— сказал ей Пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль,— портянки сожгла, опять-таки ты баба, опять-таки — дура. Вот что...

Никита вышел на двор. День был мгlistый. Дул мокрый, тяжелый ветер. На сером, крупичатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная, в лужах, заворачивающая к плотине, санная дорога была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашеный дом — все это было серое, черное, четкое.

Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.

Никита стоял, задрал голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном,— у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.

Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.

ДОМИК НА КОЛЕСАХ

Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Кряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона,— лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми гряз-

ными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клетки, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребницей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.

У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими, — стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, — непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.

Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнувший собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.

Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.

Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутыл-

ка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы, — один на всем свете, в пустой будке...

— Господи, — проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки, — дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича... Чтобы вышло солнце, выросла трава... Чтобы не кричали грачи так страшно... Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян... Господи, дай, чтобы мне было опять легко...

Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, — ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.

Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, — внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:

— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА

Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.

Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи», — торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.

Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо», — думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.

К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул

в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.

За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.

— Пятый день нет почты,— сказала она Аркадию Ивановичу,— я ничего не понимаю... Вот — дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели... Такое легкомыслие, ужасно!

Никита понял, что матушка говорила про отца,— его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком,— нельзя ли послать за почтой верхового? — но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:

— Господа, что делается!.. Идите слушать.— воды шумят.

Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.

Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях и текущие овраги снопами света отразили солнце.

— Боже, какой воздух,— проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете.

Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупчатые сугробы,— они ухали и садились под

ногами. Куда ни сунься,— всюду вода: усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провявшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился.

Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега: это называлось «наслус»,— не дай бог попасть с лошадьё в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды: вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра.

На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно,— скачущие без дороги по полой воде мужики.

Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь.

На плотине, между корявыми стволами, появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин,— он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам; комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт.

Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошаденка,— она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза — побе-

левшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее,— крикнула она, распахивая дверь на кухню,— Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Никитьевич около Хомяковки тонет...

Самое страшное было то, что «около Хомяковки». Свет потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату.

— Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый,— повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя.— Ну что, ну что, ну что?.. Василий Никитьевич сейчас приедет... Очевидно,— просто попал в канаву, вымок... А маму твою балбес Степка напугал... Честное даю слово, я ему уши надеру...

Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки.

В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали и около каретника, суется и шумя, закладывали злого, сильного жеребца Негра в санки без подрезов; ловили на конском загоне верховых лошадей; кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок; Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке:

— Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой. Как привезем, ему сейчас — водки...

— Пахом, я сама с вами поеду.

— Никак нет, домой идите, застудитесь.

Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под уздцы жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу.

Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом — ветлы Хомяковки, матушка села

у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку...

— Бог даст, Никитушка, нас минует беда,— проговорила матушка тихо и отдельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты.

Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправляя очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть: не едут ли? — и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту.

Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими елочками: к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились: Негр с мыльной мордой, Пахом — бочком на облучке санок, и в санках, под ворохом тулупа, дохи и кошмы,— багровое, среди бараньего меха, улыбающееся лицо Василия Никитьевича, с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь,— лицо ее задрожало.

— Жив! — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз.

КАК Я ТОНУЛ

В столовой, в придвинутом к круглому столу огромном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесаные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки.

Василий Никитьевич шурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка хотя и была все в том же сером платице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа,— никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала,

приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки «скоро-спелки», и они шипели маслом, стоя на столе,— объеденье! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком — урлы-мурлы,— неестественно громко мурлыкая. Еж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились со лба на спину: значит, тоже был доволен.

Отец с удовольствием съел горячую лепешку,— ай да Степанида! — съел, свернув трубочкой, вторую лепешку,— ай да Степанида! — отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз.

— Ну,— сказал он,— теперь слушайте, как я то-нул.— И он стал рассказывать.— Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша,— он на минуточку сделался серьезным,— что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка: пристал ко мне Поздюнин, — купи да купи у него каракового жеребца Лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? «Поди, говорит, посмотри только». Увидел я жеребца и влюбился. Красавец. Умница. Косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит — купи. А Поздюнин пристаёт,— купи и купи у него также и сани и сбрую... Саша, ты не сердись на меня за эту покупку? — отец взял руку матушки.— Ну, прости.— Матушка даже глаза закрыла: разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы Поздюнина.— Ну, так вот,— велел я отвести к себе на двор Лорда Байрона и думаю: что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки,— отец хитро прищурил один глаз,— на рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу,— жеребец мой весь в мыле,— с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбани, у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой,— умопомраченье! Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь — непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало — ехать. Так проспори-ли мы с попом до полночи. Какой он угостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово,— если при-

везти такую наливку в Париж,— французы с ума сойдут... Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада: сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду... Бог с ним и с попом и с наливкой...

— Василий,— перебила матушка и строго стала глядеть на него,— я серьезно тебя прошу больше никогда так не рисковать...

— Даю тебе честное слово,— не задумываясь, ответил Василий Никитьевич.— Так вот... Утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые!.. Одна вода кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колено в воде, по озерам... Красота... Солнце, ветерок... Сани мои плывут. Ноги промочены. Необыкновенно хорошо! Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать — где бы легче перебраться через реку... Ах, подлец! — Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла.— Покажу я этому Поздюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты три за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец Лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы переехали, а впереди три оврага,— пострашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша: вровень с берегами идет вода со снегом. Овражище,— сама знаешь,— сажени три глубины.

— Ужас,— побледнев, проговорила матушка.

— Я выпряг жеребца, снял хомут и седелку, положил их в сани, не догадался снять дохи,— вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом,— господи благослови! Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает. Попятился, да и махнул в овраг, в наслус. И ушел по самую шею, бьется и — ни с места. Я слез с него и тоже ушел,— одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно — не покидай! — и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна.

Счастье, что доха была расстегнута, и когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, в овраге... Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркою, как лягушка, и слышу — что-то булькает. Оглянулся, — у жеребца полморды под водой, — пузыри пускает: он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше, должно быть, часу в этом наслусе. Чувствую — нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время — смотрю — жеребец перестал сигать, — его повернуло и понесло: значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я — за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом, — оба качаемся. А впереди — еще два оврага. Но тут я увидал — скачут мужики...

Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали.

— Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара, — сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

У него начался озноб. Его уложили в постель, и он понес чепуху...

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил, — жив ли Лорд Байрон? Красавец жеребец был в добром здоровье.

Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги: валяться было не время. Начиналась весенняя суeta перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В доме шла большая чистка: вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих

местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую.

Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами; Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры — получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом — яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком «жук», золотили и серебрили.

В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном, — начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей.

Всю эту неделю дни стояли неровные, — то нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба, из синей бездны, лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря. По ночам подмораживало лужи.

В субботу усадьба опустела: половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцовку, в село за семь верст, — стоять великую заутреню.

Матушка в этот день чувствовала себя плохо — умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон.

Никите было предложено: если он хочет ехать к заутрене, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все четыре ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитьевича, державшего в Колокольцовке бакалейную лавку, Петра Петровича Девятова. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно», — сказала матушка.

На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал:

«Но, милая, выручай», — и старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита пошла рысцой.

Проехали двор, миновали кузницу, переехали овраг в черной воде по ступицу. Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю назад, на Артема.

Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос, — думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката, в зеленом небе, теплилась чистая, как льдинка, звезда.

ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька-нытик и двое маленьких, — имена их было знать неинтересно.

Старшие мальчики вполголоса рассказывали истории, Леньке-нытику попадало, — то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину.

Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка ровесница Никиты, — веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей:

— Анна, не лезь, — вот я встану...

Анна так же неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще за светло ушел в церковь.

Марья Мироновна, жена его, сказала детям:

— Пошумите, пошумите, — все затылки вам отобью...

И прилегла отдохнуть перед заутреней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал:

— В прошлую пасху в подкучки играли, так я двести яиц наиграл. Ел, ел, потом живот во — раздуло.

Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке:

— Неправдычка. Вы ему не верьте.

— Ей-богу, сейчас встану, — пригрозил Лешка.

За дверью стало тихо.

Володя, старший, смуглый курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги, на перине, сказал Никите:

— Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить, — вся колокольня трясется. Лево́й руко́й в мелкие колокола — дирлинь, дирлинь, а это́й руко́й в большу́щий — бум. А в нем — сто тысяч пудов.

— Неправдычка, — прошептали за дверью.

Володя быстро, так, что кудри отлетели, обернулся.

— Анна!.. А вот папаша наш страшно сильный, — сказал он, — папаша может лошадь за передние ноги поднимать... Я еще, конечно, не могу, но зато, лето придет, приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд — шесть верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой — в воду.

— А я могу, — сказал Лешка, — под водой вовсе не дышать и все вижу. В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись и жуки — во какие...

— Неправдычка, — едва слышно вздохнули за дверью.

— Анна, за косу!..

— Противная какая девчонка уродилась, — сказал Володя с досадой, — к нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют.

За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смиренное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами.

— А вы плавать умеете? — спросил его Никита.

Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно:

— Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше: на крыше — шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учи-

ться. А я пойду по хозяйственной части. А Лешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком,— он дернул Ленку за петушиный вихор на макушке,— такой постылый мальчишка. Папаша говорит — у него глисты.

— Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные,— сказал Лешка,— потому что я лопухи ем и стрючки с акации ем, я могу головастика есть.

— Неправдычка,— опять простонали за дверью.

— Ну, Анна, теперь держись,— и Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели,— Анны, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: — К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня: я ей полну голову репьев набью.

— Оставь ее, Алеша,— проговорил Коля,— ну что к ней привязался?

Тогда Алешка, Володя и даже Ленка-нытик накинулись на него:

— Как это мы к ней привязываемся! Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, оглянись, она обязательно сзади треплется... И все ей не терпится,— что неправду говорят, делают, что не велено...

Лешка сказал:

— Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видеть,— всего пиявки съели.

Володя сказал:

— Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего.

Ленка-нытик сказал:

— Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь.

Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутреней. Вдруг издали послышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны:

— Тыща раз мне вам повторять...

Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу.

Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шали с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери.

Ночь была звездная. Пахло землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди: бабы, мужики, дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плашки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки.

ТВЕРДОСТЬ ДУХА

После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне, в клетке, канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович, в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики, — такая у него была привычка, — налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая, — не могла даже разговляться, только и ждала, когда, наконец, орава, — так она звала детей, — угомонится.

Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клубы ладана, вверху, под церковным, в золотых звездах, синим куполом, — голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысяче глаз, отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, — все простилось в эту ночь. С веснушчатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться...

Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петро-

веча, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчишки играли в чижики, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых, растопорщенных платьях. У каждой в руке — платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются.

С краю, на бревнах, вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит хахаль Петька — старостин, перебирает лады гармони, да вдруг как растянет ее: «Эх, что ты, что ты, что ты!»

У другой стены стоит кружок, играют в орлянку, у каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко: орел или решка?

Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки: прячут в мякинные кучки по два яйца, половина кучек пустая, — угадывай.

Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему:

— Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют.

Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха, глазами и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита пошел к мальчишкам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала:

— С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала.

Куда бы Никита ни пошел, — Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал, — зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно, он видел, как мальчишки уже начали посмеиваться, поглядывая на него, один крикнул:

— С девчонкой связался!

Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи...

— Слушайте, знаете что,— опять зашептала за спиной Анна,— я знаю, где суслик живет, хотите, пойдём его посмотрим?

Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала:

— Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?

— Не пойду.

— Ну, хотите,— куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно.

— Не хочу.

— Значит, вы играть со мной не хотите?..

Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду, ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу, острый кончик веснушчатого носика ее покраснел, глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял: Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с Лилей.

Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, — он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой — это уж было предательство и стыдно.

— Это вам на меня мальчишки наговорили,— сказала Анна,— ужо мамыньке на всех нажалуюсь... Одна буду играть... Не очень надо... Я знаю, где одна вещь лежит... И эта вещь очень интересная...

Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно.

ВЕСНА

На солнце нельзя было теперь взглянуть,— лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами.

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие

листья, лезла трава, весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суется, свистела медовым голосом.

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок.

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков:

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.

Однажды Никита сидел на гребне канавы, у дороги, и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами; кобылы оборачивали головы, посматривая — здесь ли жеребенок; жеребята на длинных, слабых, толстых в коленках ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост; хорошо было напиться молока в этот весенний день.

Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой, иная начинала валяться, иная, ощерясь, визжа, норвила хватить зубами.

По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитевич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало набок, глаза были весело прищурены, на ще-

ке — лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал:

— Какая из табуна больше всего тебе по душе?

— А что?

— Безо всякого «а что»!

Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меринка Клопика, — он ему уже давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой.

— Вот этот.

— Ну и отлично, пускай нравится.

Василий Никитьевич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу: нет, этот разговор неспроста.

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА

Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада слышался голос Аркадия Ивановича:

— Адмирал, скоро глаза продерете?

— Встаю! — крикнул Никита и с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья.

Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша — не хотелось, чтобы скоро уходило время, — оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве — выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы.

В столовой, на снежной свежей скатерти, стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в ли-

цо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал:

— Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям грегорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.

После чая пошли на пруд. Василий Никитьевич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш.

Матушка ужасно этому смеялась,— подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече.

На берегу огромного, с извилинами, пруда, у купальни, был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели — водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности пауки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи.

Василий Никитьевич привязал к нижнему концу бечевы личный адмиральский штандарт,— на зеленом поле красная, на задних лапах, лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бечеву, штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича.

Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков,— они толклись и летели за лодкой.

— Полный ход, самый полный! — кричал с берега Василий Никитьевич.

Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, и из зеленых, еще низких камышей с кряканьем, в ужасе, полуполетом по воде побежали две утки.

— На абордаж, лягушиный адмирал. Урррра! — закричал Василий Никитьевич.

ЖЕЛТУХИН

Желтухин сидел на кустике травы, на припеке, в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу: Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец, — попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика.

У Желтухина отчаянно билось сердце: «Ахнуть не успеешь, — думал он, — сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц.

Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом: значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного погодя.

Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку.

— Совсем еще маленький, бедняжка, — сказала она, — какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи — воры, обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита, глаза у него были большие,двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал», — думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают, — думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка, — он, как змей, извивался перед самым носом. — Не стану его есть, червяк не настоящий, обман».

Солнце опустилось за листья. Серый, сонный свет затягивал глаза, — все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья. Нахохлившись сердито — на всякий случай, Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит», — подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щелку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил: «Ничего себе, червяк был вкусный».

Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья на Желтухина упал теплый яркий луч солнца. «Поживем еще», — подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого, с драным затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: фюють, чилик-чилики, фюють. Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину, — ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то», — подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха.

Так прошел день — бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить, — набирал воду в носик, закидывал головку и глотал, — по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подратся с галкой, и она так его тюкнула, — он камешком нырнул в листья, глядел оттуда ошестинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала.

Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки, — Желтухин даже загрустил, а у самого так и kloкотало в горлышке, хотелось запеть, — но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи... во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя», — думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез на-

ружу, прыгнул в текучий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырех людей. Они ели,— брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всем лету, поворота,— упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика — темно, он прыгнул туда, поворочался и заснул.

А тою же ночью, в чулане, кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей,— сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и, когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голосом: «Саша»,— и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду,

но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелетными птицами за море, в Африку.

КЛОПИК

Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит, — настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман и огромные одинокие осоки, казалось, росли из мглистого воздуха, — висели над землей.

При табуне конюшонком состоял Мишка Коряшонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремена босые ноги, заваливался и болтал локтями.

Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобылкой, Мишка кричал: «Азат!» — и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая удилами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи; луковички были кисленькие и хрустящие, а корни — мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот.

Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Коряшонку и обучался у него верховой езде.

Влезать в седло было нетрудно: старый сивый, в гречку, мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводья и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов тридцать, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно.

Мишка говорил:

— Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избави тебя бог за землю хвататься, — вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды — вскочил и лети.

Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать:

— Хлеба, хлѣба, хлеба...

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой — было приятно, и чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо.

Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины, — Звезда тревожно переступила, — он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, Звезда шарахнулась вбок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна.

Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом, Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите прихрамывая, вытирая с исцарапанной щеки кровь.

— Прямо в хвост скинула проклятая кобылешка, — сказал он, — а ты так не можешь, в тебе жиру много.

Никита промолчал. Подумал: «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки».

За обедом он рассказал про Звезду, матушка разволновалась.

— Слышишь, — сказала она, — я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям, — и она с мольбой взглянула на Василий Никитевича. — Вася, поддержи хоть ты меня... Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги...

— Вот и отлично, — сказал на это Василий Никитевич, — запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком, — тоже ведь может нос разбить, — посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей...

— Я так и знала, — ответила матушка, — я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя...

— Саша, пойми, что мальчику десять лет.

— Ах, все равно...

— Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович.

— Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика.

— Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок.

— Он кованый.

— Нет, я его велел расковать.

— Ах, в таком случае делайте все, что хотите, садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы,— у матушки налились слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.

Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом:

— Да, брат, плохо твое дело.

— Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать... Честное слово, что я ..

— Терпение, выдержка и твердость характера,— Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос.— эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом...

В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны...» — «Где, где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка... «В Америке они самостоятельны...» — «Это неправда...» — «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например». — «Боже мой, но мы не в Америке...»

Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом, надеялась только, что сохранит он хоть голову.

Никита за эту неделю старательно учился за прудом верховой езде,— Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду,

— Она тебя сроду брыкнуть не успеет, брыкнет, а ты уже у ней на холке.

Наконец за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом:

— Ты знаешь, тебе уже десять лет и ты должен быть самостоятелен, в твои годы другие мальчики вполне, вполне...— У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца.— Словом, папа прав, что ты уже не ребенок.— Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола.— Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике... Я только прошу, прошу тебя...

— Мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится,— и Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнувшие ягодами руки.

Назавтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло — английское, из серой замши, подаренное на рождество,— и говорил, шагая по траве к конюшням:

— Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды — вываживать... Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты — хороший кавалерист.

В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович, в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе,— шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы,— выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема:

— Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежа! Ведь эта упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся. Тебе kota запрягать в лукошко.

— Я безлошадный.

— То-то за тебя и девки не идут, что ты — невежа. Подай мне новые вожжи.

Коренник Лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз удила, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича,

выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубярами. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите:

— Сами желаете седлать?

Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его.

Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбаченький, плотный мерин, в чулках, с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок.

— Конь добрый,— сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду — вода текла у него с серых губ.

Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и ввудал. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее — седло и стал затягивать подпруги,— дело было нелегкое.

— Надувается,— сказал Сергей Иванович,— хитрое животное, брюхо надувает,— и он шлепнул ладонью Клопику по животу; мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги.

Подошел Василий Никитьевич и начал командовать:

— В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись. Бери ее в шенкеля. Не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки.

Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню.

Василий Никитьевич закричал:

— Стой! стой! Работай правым поводом, разиня!..

В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меринку:

— Свинья, настоящая свинья, дурак несчастный!..

Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя:

— Садитесь, я его проведу. Меринишка какой хитрящий. Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять.

Наконец Клопика обуздали, и Никита гарцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов.

Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово:
— Пускай!

Артем, державший под уздцы Лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями с копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами,— описала по зеленому двору полукруг и стала у дома.

С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на гарцевавшего вдалеке Никиту. Отец посадил матушку в коляску, вскочил сам.

— Пошел!

Сергей Иванович приподнял вожжи. Каракровые великолепные звери, просясь на тугих удилах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завились. Лорд Байрон, зная, что все это — шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку.

Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это — лишнее, и когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону: все это он считал излишним, — ехать, так ехать по дороге, зря не задирается.

Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило, от Клопиной рыси перебултыхался живот.

— Хочешь в коляску?

Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу:

— Дай ходу!

Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами, пристяжные разостлались над травой, Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь что было силы — старался ужасно.

Отвратительное ощущение ровной рыси прошло, Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки... Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера.

Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.

— Хорошо, Никита?

— Чудесно... Клопик — удивительная лошадь...

В КУПАЛЬНЕ

Рано поутру Василий Никитьевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд — купаться.

Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками, толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь, — закрыв глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет.

Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитьевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, шурился на ослепительные отблески воды и говорил:

— Хорошо, отлично!

Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню, — вода была ему по грудь, — и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая:

— Хорошо, отлично.

Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетело коромысло, трепеща глядело изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитьевича и уносилось боком. Аркадий Ива-

нович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался — не видит ли его кто-нибудь с берега, — басом говорил: «Ну-с, хорошо-с», — и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуганные грачи, он плыл саженками, вилял под синеватой водой худым рыжеволосым телом.

Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище: «Ух-брррр...»

Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза — мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так и называлось: «Делать несчастного Васю».

— Ну, поплыли, — говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по-лягушину, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде.

Никита кувыркком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит: за это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре, — умел боком, и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом:

— Аркадия топить.

Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на саженках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги, — он больше всего на свете боялся щекотки. Но поймать его было нелегко, — чаще всего он уходил, и, когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом:

— Плавать, плавать надо учиться, господа.

Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила:

— Чай накрыт в саду, под липой. Садитесь, не ждите меня, — булочки остынут.

СТРЕЛКА БАРОМЕТРА

Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался,— стрелка стояла: «сухо, очень сухо». За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля рас-трескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над горизон-том, висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на де-ревьях, и сколько Василий Никитьевич ни стучал в стек-ло барометра,— стрелка упорно показывала: «сухо, очень сухо».

Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде,— лица у отца и матушки были озабоченные; Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина: Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что «прикована к по-стели больной матери» и надеется повидаться с Арка-дием Ивановичем только осенью в Самаре.

Никита так и представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнур-ком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе город-скую учительницу, сидящую у голой стены, у железной кровати.

За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал:

— Если завтра не будет дождя,— урожай погиб.

Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как, точно в бреду, звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.

— Неужели — опять голодный год,— проговорила матушка,— боже, как ужасно!

— Да, вот так: сиди и жди казни,— отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесу-човых панталон,— еще один день этого окаянного пекла,

и — вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети... Непостижимо.

Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню — считать белье, Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь.

В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мгlistым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих, — все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове.

Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами.

Никита побрел домой и прилег на пахнувший мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка, — чистит, должно быть, толченым кирпичом, ножи и воет, воет вполголоса от смертной тоски.

Но вот в полураскрытом окне, на подоконнике, появился Желтухин, клюв у него был раскрыт, — до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко, — ущипнул и опять заглянул в глаза.

— Отстань, пожалуйста, убирайся, — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко.

Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра.

— Фюить, — нежным голосом сказал Желтухин, — фюить, бурря.

— Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру.

Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между «переменчиво» и «бурей».

Никита забарабанил пальцами в стекло,— стрелка еще передвинулась на деление к «буре». Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно:

— А, что? Что такое?..

— Папа, поди — посмотри барометр...

— Не мешай, Никита, я сплю.

— Посмотри, что с барометром делается, папа...

В библиотеке было тихо,— очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась включенная борода:

— Зачем меня разбудил?.. Что случилось?..

— Барометр показывает бурю.

— Врешь,— испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу и сейчас же оттуда закричал на весь дом:— Саша, Саша, буря!.. Ура!.. Спасены!

Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала — «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери.

И вот в мертвенной тишине первыми, глухо и важно, зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон, в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитьевич, рот его был раскрыт, глаза расширены. И

вот — бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь, на мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И — снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь — сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях, — глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал.

ПИСЬМЕЦО

Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевке на базарной площади.

За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом, почтмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

— Меня папа прислал за почтой, — сказал Никита.

Почтмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять.

— Почему я должен знать — кто такой папа? — проговорил он крайне недоброжелательно. — Тут каждый — папа, тут все — папы...

— Что вы говорите?

— Что у вас тысячу пап — говорю, — почтмейстер даже плюнул под стол. — Фамилия, фамилия, спрашиваю, этому папе-то как? — Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем.

Никита положил их в сумку, спросил робко:

— А журналов, газет разве нет?

Почтмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

У почтового столба Клопик топал ногой и обхлестывал себя хвостом, — до того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасною гущей мальчика, с льняными волосами, глядели на лошадь.

— Посторонись! — крикнул им Никита, садясь в седло.

Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч.

Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту.

Одно из писем было маленькое в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами — «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел:

«Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче. И наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристаёт, не даёт мне жить. Он отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые ещё не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я ещё не потеряла. До свидания. Лиля».

Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки, зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля... Под лампой, у

круглого стола, снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок... Колдовство!..

Никита привстал на стременах, взмахнул плетью,— Клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми, кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки — плавал орел. В ложине, у солончакового озера, кричали чибисы — жалобно, пустынно. «Скачи, скачи, скачи! — думал Никита. Сердце его радостно, сильно билось. — Свисти, свисти, ветер!.. Лети, лети, птица орел!.. Кричи, кричи, чибис, — я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я...»

ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ

Третий день Василий Никитьевич и матушка ссорились: отцу очень хотелось поехать на ярмарку в Пестравку, матушка же была решительно против этой поездки:

— В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся.

— Странно, — отвечал отец, захватывая всю горсть бороду, кусая ее и пожимая плечами, — это очень странно!

— Ну пусть, мой друг, тебе странно.

— Нет, это в высшей степени странно!

— А я еще раз повторяю, — говорила матушка, — что нам новые лошади не нужны: слава богу, выездных — полна конюшня.

— Пойми наконец, что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу Заремку.

— Напрасно, Заремка — прекрасная кобыла.

— Что ты мне говоришь! — Отец расставлял ноги и выпучивал глаза. — Заремка кусается и бьет задом.

— Нет, — твердо отвечала матушка, — Заремка не кусается и не бьет задом.

— В таком случае, — отец даже расшаркивался, — я прямо заявляю: или эта проклятая кобыла в хозяйстве, или я!

В конце концов матушка, как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и

уступками: кобылу решено было продать, отец же дал честное слово «не тратить сумасшедших денег на ярмарке».

Чтобы не тратить денег, Василий Никитьевич придумал послать в Пестравку два воза яблок — падалицы — и продать их в развес.

Никита отпросился ехать на возах вместе с Мишкой Коряшонком.

С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка Коряшонок залез на пристяжной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами. Затем, когда из конюшни вывели рыжую в чулках Заремку и начали чистить ее скребницей, кобыла хватила зубами Сергея Ивановича, — едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню:

— Ага, кусается!.. Что, говорил я вам, черти окажанные!..

Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что комья с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с возами. Кинулись искать — оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сидит при волостной избе, в клоповке: подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет на пять неплаченных, поэтому, — где бы он ни находился, — начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит.

Василий Никитьевич послал к старосте верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать воза, очень веселый. Воза запрягли, к задней телеге в распялах привязали Заремку. Никита и Мишка Коряшонок сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, воза тронулись... «Чокушка, чокушка», — нарочно, для смеху, закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел, — чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой... Наконец выехали.

Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнувший полынью и пшеничной соломой, раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда

хватал глаз, на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок — это у плугарской будки варили кашу.

Доехав до стана — домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к возам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой:

— Яблочки продавать везете? — Никита подал ему яблоко. — Нет, юнкер, мне жевать нечем.

Отъехав от стана, встретили четыре цабана; за быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые, в заскорузлых рубахах плугари — есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал — какой будет поворот на Пестравку.

К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачт. Веза шли. Трещали кузнечики. И вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновязи, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув:

— Наш пылит!

Скоро мимо возов пролетела тройка с увалистой рысью Лорда Байрона, задиравшего морду, с вислозадыми пристяжными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в чесучовой поддевке, подбоченясь; борода его летела на две стороны по ветру; поведя веселыми глазами, он крикнул Никите:

— Хочешь ко мне? — И тройка умчалась.

Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой открылось все село Пестравка, а за ним на выгоне — парусиновые балаганы и темные пятна табунов.

Веза рысью проехали по зыбкому, над самой водою, мосту, миновали церковную площадь, где в розовом доме, в крайнем окошке, играл толстый поп на скрипке, за-

вернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда.

Никита стоял на телеге и видел: вот заросший от самых глаз черной бородой цыган, в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами, глядит в зубы больной лошаденке, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками,— стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок не такой нужен»,— говорит баба. «Ты, красотка, такого горшка — обыщи весь свет — не найдешь». Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит: «Какое это яйцо? Разве это яйцо,— это яйцо щуплое. Вот у нас в Колдыбани — яйцо, у нас в Колдыбани куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих: «К нам, к нам, у нас покупали...» Пыль, крик, лошадиное ржанье над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли возов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонь: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!..»

Артем отпряг лошадей и начал расшпиливать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке, с шашкой на ременной портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку.

— Вот ты мне когда попался, бродяга,— сказал усатый человек,— безусловно, я тебя сгною теперь.

— Воля ваша,— ответил Артем.

Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка Коряшонок озабоченно зашептал Никите:

— Сбегай, найди отца, скажи — Артема урядник в клоповку взял, а я воза посторожу.

Никита выбрался из толчи и побежал по утоптанному ковыльному полю к конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очень веселый, стоял у одного из загонов, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о про-

исшествии с Артемом, но Василий Никитьевич сейчас же перебил:

— Видишь гнедого жеребчика... Ах, жеребчик, ах, шельма!..

По загону между лошадей ходили три башкира в вылинявших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под жердь загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия.

Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали — двое в угон за караковым жеребчиком, третий — с арканом — наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему накинули аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загону, дрожащего, в мыле. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу:

— Купи жеребца, бачка.

Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема.

— Ах, досада, — воскликнул отец, — в самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что, — возьми двугривенный, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах... А Заремку я, знаешь, продал Медведку, — недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду.

Но «сейчас» оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой. Зазвонили к вечерне. И только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное.

— Совершенно случайно купил партию верблюдов, — сказал он, не глядя Никите в глаза, — страшно

недорого... А что, за кобылой еще не прислали? Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что: черт с ними, с этими яблоками,— я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле... Пойдем выручать Артема...

Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, между возов, от которых в сумерки пахло сеном, дегтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким тающим в степи подголоском. Ржала лошадь.

— А знаешь,— отец остановился, глаза его лукаво блеснули,— достанется мне дома на орехи... Ну, да ничего. Завтра пойдем тройку одну посмотреть — серые, в яблоках... Все равно — один ответ.

НА ВОЗУ

Вечером, на возу свежей пшеничной соломы, Никита возвращался с молотьбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами — следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников.

В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана, и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день...

...Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка Коряшонок, покрикивает, пощелкивает кнутом.

С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень к красной, большой, как дом, молотилке, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухаает, свирепо ревет барабан, далеко слышный в степи,— жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задаёт сам Василий Никитьевич, в глухих очках, в голицах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке,— весь пыльный, с мякинной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкою па-

рень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончатся заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с возов снопы на полати молотилки, девки поймали между телег, защекотали,— он боялся щекотки,— повалив, набили его под одеждой мякиной. Вот было смеху!..

...Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры.

«Все это — мое,— думал он,— когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу...» И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты,— серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.

Воз стал спускаться под горку. Забрехали вдалеке собаки. Потянуло сыростью с прудов. Въехали во двор. Теплый уютный свет лился из окон дома, из столовой.

ОТЪЕЗД

Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, не греющее, старое,— ему уже дела не было до земли. Улетели птицы. Опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку,— положили в сарай кверху днищем.

По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенне-зеленой траве хаживали гуси на пруд,— гуси разжирили, переваливались, как комья снега. Двенадцать девок из деревни рубили капусту в большой колоде около людской,— пели песни, стучали тятками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, прибежала Дуняша, грызла кочерыжки,— еще больше расхорошелась за

Осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бе-
гает она к людской не затем, чтобы грызть кочерыжки
и смеяться с девками, а затем, чтобы видел ее из окошка
молодой рабочий Василий, то же самое — кровь с моло-
ком. Артем совсем нос повесил — чинил в людской
хомуты.

Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме
затопили печи. Еж Ахилка натаскал тряпок и бумажек
под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму.
Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Ники-
та видел в дверную щелку, — Аркадий Иванович стоит
перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задум-
чиво посвистывает: ясно — человек задумал жениться.

Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Са-
мару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом
у него были большие разговоры с матушкой. Она жда-
ла от него письма.

Через неделю Василий Никитьевич писал:

«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем
Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожи-
дать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою,
напрашивается второе решение, которому ты так проти-
вилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту
зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия
в гимназии уже начались. Только в виде отдельного
исключения Никите будет разрешено держать вступи-
тельный экзамен во второй класс. Между прочим, мне
предлагают две изумительные китайские вазы — это для
нашей городской квартиры; только страх, что ты рас-
сердишься, удерживает пока меня от покупки».

Матушка колебалась недолго. Тревога за находже-
ние в руках Василия Никитьевича больших денег и
в особенности опасность покупки им никому на свете
не нужных китайских ваз заставили Александру Ле-
онтьевну собраться в три дня. Нужная для города ме-
бель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность
матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух
тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Васили-
сой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветре-
ный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жа-
лела лошадей, ехала трусой. В Колдыбани заночевали
на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за

плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки,— усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские,— хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.

— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее,— сказал Никита...

— И так доедем.

Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитьевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное.

Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платье. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы.

— Письмо мое получили? — спросила она. Никита кивнул ей.— Где оно? Отдайте сию минуту.

Хотя письма при себе не было, Никита все же шарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза...

— Я хотел ответить, но...— пробормотал Никита.

— Где оно?

— В чемодане.

— Если вы его сегодня же не отдадите,— между нами все кончено... Я очень раскаиваюсь, что написала вам... Теперь я поступила в первый класс гимназии.

Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловенькое письмо он ведь не ответил... Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола... Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.

— Простите меня,— проговорил Никита,— я ужасно, ужасно... Это все лошади, жнитво, молотьба, Мишка Коряшонок...

Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполлосовны, раздались приветствия, поцелуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносящих чемоданы... Лиля сердито, быстро прошептала:

— Нас видят... Вы невозможны... Примите веселый вид... может быть, я вас прощу на этот раз...

И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос:

— Здравствуйте, тетя Саша, с приходом!

Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окном — громяющие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе,— летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату,— расставляли мебель и книги, вешали занавески. В су-

мерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу,— ты его не знаешь»,—играть в перышки.

В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же — деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.

— Я ухожу, вернусь часам к девяти.

— Вы куда уходите?

— Туда, где меня еще нет.— Он хохотнул.— Что, брат, как тебя Лиля-то приняла,— прямо в вилы... Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо — деревенского жирку спустить...— Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.

Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:

— Вот ваше письмо, возьмите.

Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле:

— Возьмите ваше письмо.

У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются...

Он просыпался, оглядывался,— странный свет уличного фонаря лежал на стене... И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку...

Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят — решетом не покроешь. Одолели смертные мысли, взял страх, — волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем бог меня вразумит.

Как вешним водам сойти, — послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей копченых, полбочонка меду да бочонок яблок моченых, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видели грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то, — господи боже. Плюнул, положил тетрадь за образ заступницы: дрянь люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но, отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта, Его еще и по сию пору помнят в нашем краю.

.

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе матернин дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал псалтырь, и был в дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, при церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой,— либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в городах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непрелазной стеной.

Старики говорили,— велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню,— уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод,— с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города,— кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде среди пуста — заколоченных лавок, бурьяна на огородах — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гуляй-города да казенные ямщики.

В пустом городе — скука. Одни галки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву,— дикие звери белым днем драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончание веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, нечесанные, и бранятся матерно, а иные борются и на кулачки дерутся. Я их срамить. А один мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знает-ся с колдунами и службы не стоит, и быть нам под Борисом нельзя,—мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, к атаману Ворону Носу. Вы еще нас попомните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрысника полбока выдрано,—тело видно. И стал он говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышали — скачут кони, а ни коней, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, протопоп мне по шее дал: «Николай-чудотворец, говорит, и без тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку баранью,—я уйду в степь — воровать. А не дадите мне шапку да полушубок — наложу на вас епитимью,—я еще не расстриженный,—или еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет.

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пирогов на дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатный, говорит, раз». Глаза кулаком вытер крепко и ушел — бухнул дверью. И слышим — засвистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала,—так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более года. Голод, слава богу, кончился, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на площади у пустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому не до торга. Собыются в круг и слушают рассказы: про то, как знаю-

щие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыни колдуны, разбрелись по русской земле,— напускают порчи, засушье, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем колдунам велел польский король, и про то, как по деревням шатаются лихие люди — скоморохи и домрачей,— бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рогожную палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд — бездна. Так все село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и полязыка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Дмитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — идти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-чудотворца,— звонили хорошо, унывно. Денек,— тоже помню,— был серый. За рекой галки летали: поднимались под небо и тучей падали вниз, на черные избы,— птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идет, руками болтает — прямо к площади, где толчется народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц:

— Глядите,— кричит,— воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный!—

шапку с себя, войлочный колпак, содрал, — народ православный!.. Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать:

— «Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воровским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвел руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчетные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет — бегите к казакам на Дон».

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» — и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разогнать. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводиному коню. «Говори, кричат, правду: кто истинный царь — Годунов или Димитрий?.. Животы хотим положить за истинного царя».

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу, — хотели топить в полынье под мостом. Воевода воровства не унял, — ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили потом — колокола сами звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели — снег был красный, как кровь. Птицы — вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнем. И еще видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простово-

лосую женщину: волосы у нее торчали дыбом, на руке держала она мертвого младенца.

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бегали по двору, ругаясь матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой день коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушел и увел с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд — единорог — и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и рухлядишки, что успели наgrabить.

Еще минуло более году. Всех бед и не запомнишь. Царь Борис умер: сел ужинать, и лопнула у него утроба, изо рта потекла грязь. Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкин, читали перед народом грамоту, — сулили великие милости. Народ взял тех послов, повел на Красную площадь, и там они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иванович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кинулись в Кремль, побили кольями стрельцов у Красного крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Федора с царицей и поволокли через крыльца и переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Грабили лавки на Варварке, и на Ильинке, на Маросейке. На плавучем мосту через Москву-реку резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Много было разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы, — московский народ только крестился, плевался, дивился много: ну, и нечисть!

На другой день приехали от царевича князя Голицын и Масальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу мать, и народ выкрикнул царем Дмитрием.

Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломне. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно, и в народе шатость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Дмитрий своих людей сторонится и знает больше с поляками. В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растет скудно. На самое Крещение, на Москве-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Дмитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над русской землей?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее надоумили протопоп от Николая-чудотворца и толстая попадья — бить государю челом на деревнишке, — просить землишки, черных людишек и животов и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, — смотрю, — Наум, я сразу его узнал, в черном добром

кафтани, о сабле, и сам красный, злой, пьяный,— едва сидит в седле.

— Эй, дьявол!— кричит Наум.— Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки,— отвечает,— можно, любезные, пиво у меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня,— сел на бревнышко у крыльца.

— Из Дмитриевых али за истинного царя?— спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду.

— Мы люди посадские,— отвечает,— мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты сума переметная, сукин ты сын!— говорит ему Наум.— Да разве Дмитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мел. Я-то уж знаю,— я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушел он в степь,— конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по железному колпаку,— всего окровавил... Господи прости, сколько мы русских людей побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придешь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо,— сказал ему Баулин,— поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди,— ужотка вам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной

ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам, — только пыль да куры полетели в стороны.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор, — кланяться, просить заступиться перед царем за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомек нам было, что уже не князь — плотный, низенький старичок в собольей зеленой шубе — стоит перед нами, а без двух дней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутловатое, щекой дергает, а глаза — щелками — большого ума, не давал только в них взглянуть.

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужно за твое сиротство, матушка княгиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хорошо, — при царе Федоре он на три места ниже меня сидел: я, да князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Патрикеева рода, а после него место Туреневу, и ему воеводой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьим воеводой. Мальчику-то вели это заучить.

Князь погладил меня по голове и отпустил нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там — не протолкаться. Народ так и лезет стеной, — боярские дети, стрельцы, персюки, татары — в пестрых халатах, поляки — в голубых, в белых кафтанах, иные с крыльями, а наши — в зеленой, в коричневой, — все в темной одежде.

По бревнам громышают телеги. Или проскачет боярин в медной греческой шапке с гребешком, — впереди него стремянные расчищают плетью дорогу, — опять давка.

У кремлевской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за копейку!» Попы стоят, дожидаются натошак —

кого хоронить или венчать, и показывают калач, кричат: «Смотри, закушу». Кричат сбитенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы. Между ног ползают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках повешано товару,— так и горит. Из-за прилавков купчишки высовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин у нас покупал!» Пойдешь к прилавку,— вцепится в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьет тебя куском полотна, чтобы купил. Подале, на Ильинке, на улице, сидят на лавках люди, на головах у них надеты глиняные горшки, и цыгане стригут им волосы,— Ильинка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прибегал, велел схорониться: говорит, чье-то войско в Москву идет, уже в город входят».

И мы слышим — топот множества ног и скрип телег многих, а голосов не слышно,— входят молча. Вдруг застучали в ворота,— отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до утра слушали,— нет-нет, да и ломятся к нам на двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж бунт — стрельцы жалованья просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя к Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иные говорят,— видели его ночью у Арбатских ворот на коне.

В самый завтрак к нам на подворье забежал божий человек, голый, в одних драных портках, на шее у него, на цепи, висят замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него,— вся в лице переменялась и положила ложку. А божий человек смеется, морщится, шею вытянул — и начал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете?.. Его же, и ныне его зарезали, сам, сам видал,— вот она.— И протягивает тряпочку, всю в крови.— Понюхайте, не жалко, царская кровушка медом пахнет.. А когда еще

раз, в третий раз, резать-то его станете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась на скамейку. Спрыснули ее с уголька, она вскинулась.

— Царя убили! — кричит. — А вы тут ложками стучите... Идем, идем скорее, — и тащит меня за руку из-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота нас не пустили, — в воротах и у моста через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди, — крик, давка, визг бабий... Смотрим, — сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зеленые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка, — Лобного места, — кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно, — на лицо надета овечья сушеная морда — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребята, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушел...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мертвому телу,— гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волоса — растерзаны.

— Вот вам крест святой,— закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма,— этот на лавке лежит: царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо еще мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашенная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот,— хотел, видно, засмеяться,— но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, отворились ворота, и выехали бояре,— впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробилась мы к Москве-реке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба,— казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от поборов, от кормовых, от государева тягла разбрелись розно — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась мордва на Нижний-Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шел он из литовской украины с казаками. За ним из

Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда пробрался на Русь, будь он проклят... И ныне кидает по городам воровские письма.

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу и читал их:

— «Во имя отца и сына и святого духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жен их, и вотчины их и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и черным людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жен их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безыменным людям, хотим давати боярство, и воеводство, и окольнічество, и дьячество...»

На святки ночью ворвались в Коломну воры на ста двадцати санях. Матушка услышала набат, оделась, одела меня, сняла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, полные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, ноги задирают, орут — все пьяные... У Николая-чудотворца часто-часто страшно били в большой колокол. Воры доскакали до площади и сбились у воеводина двора, — стучат в ворота, ломают ставни. Мы с матушкой вернулись в избу.

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек на площади. Ах, душегубы... Толстая попадья нам потом рассказывала, — сама видела, как вытащили воры воеводу из избы на снег, однорядку, рубаху содрали и ножами резали у него из спины ремни, — допытывались, где казна зарыта.

Ворота мы так и не заперли,— все равно воры выломают. Матушка поставила на стол образ заступницы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел снег,— идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меня Христа ради,— сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе.

В дверь ударили ногой, в избу вошли воры. Впереди — Наум. Шапки не снял, не помолился и говорит застуженным голосом:

— Ну, поели нашего хлеба досыта,— ступайте...

— Наум,— спрашивает матушка со слезами,— ты ли это?

— Звали Наумом... Ныне я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твое, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословленными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не впускали, потом, глядим,— над воротами высовывается растрепанная голова. Это был сам протопоп,— узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопопа в черной подклети. От горя, от дыма горького, от черствого хлеба столько слез пролили,— на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозванным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка,— погуляли, потешились в свое время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве вздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор,— никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, по-

могли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с боем овладеть Москвой,— подбивали его к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни Иваньково, дрались на Яузе, на Ходынском поле, захватили у москвичей Гуляйгород, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Троицу. Сапега разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север — грабить северные города.

В Москве опять начался голод, а в Тушине — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за простыми потянулись служилые и дворяне — просить у вора деревнишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и Хворостин, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал — иным вотчины, иным окольниковство, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кланяться вору на деревнишке:

— Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитем, как обкошенный куст.

А ехать было страшно. Как тогда, весной, Болотникова разбили,— Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в окрестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень,— тогда они сделают пустоту.

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поляками, зажег Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушином и пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги тоже пошел на Москву и стал в селе Коломенском. Такая поднялась смута — разобрать ничего было нельзя.

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник с гусарами, дворы, что остались целы, вы-

грабил, много народа порубил, посек и порохом взорвал городскую стену. Мы в погребе отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят,— Христовым именем.

Помню,— поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под горой, вьется лазоревая река, и на реке, на зеленых холмах, стоят храмы, белые и златоглавые, три стены идут кругом города, за стенами — сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Матушка глядит на Москву, молчит, и слезы у нее полились.

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки, стрельцы, а посреди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в черной однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, на шее жилы надуты. На весь народ человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушином лучшие русские люди побиты. Долго еще нам терпеть?.. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь нужен молодой,— простой царь. Чтоб он лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царем за веру православную, за русскую землю души наши положить. Храмы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жен наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел народ. Матушка спрашивает у одного посадского,— кто таков человек — кричит на возу?

— Да ты разве не видишь,— отвечает,— Прокопий Ляпунов.

В тот же день,— мы узнали,— народ ссадил Шуйского. Ссадили, и пошла резня. Черные люди хотели вора на царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые люди — Михаила Романова, бояре — королевича Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаяли все тогда,— скоро смута кончится. А она только еще разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять — и думать было нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел,— рукой махнули: хоть черта царем.

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскворечье добрые люди. Мы видели, как вошел в Москву гетман Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Нижнего и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским,—осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь,—как на семья-то осталось русского народа.

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, не на что надеяться. Ожесточились сердца. И русские люди взяли, наконец, Москву и вошли в опоганенный Кремль. Я сам видел, как со стены скидывали в Москву-реку бочки с человечесьей солониной. А когда в храмы вошли—только рукой махнули, заплакали. Смута кончилась. Но радости было мало: кругом, куда ни поезжай,—ни сел, ни городов—пустыня, погост.

И еще помню я, как в осеннюю ростепель, в ветреный, серый денек, вышел народ на московские заставы в поле и стоял без шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге ехал возок. Тянули его две пары разнопегих лошадок в веревочной сбруе, с подвязанными хвостами. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драный, угрюмый народ глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязно было принимать венец Михаилу Романову, тяжело, уныло.

Вдруг к возку кинулся человек в рубище,—упал в грязь на колени и грудь себе ногтями рвет... Вижу,—опять это Наум. Возок проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого Кремля. Бежал, выл,—юродствовал.

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка была молодому царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам сельцо Архангельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как на верную смерть: по всему северному краю бродил разбойничий атаман Бало-

вень с черкасами, литовскими и русскими ворами, никому не давал пощады: поймают человека, набьет ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу и всех истребили на заонежских погостах, самого Баловня привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратига Михаила, после обедни, позвали меня к царскому столу,— в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с детьми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь — худошавый отрок — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, все больше на руку облакачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклонялся и шептал ему, царь поднимал лазоревые глаза и улыбался,— и то одному боярину, то другому посылал чашу.

Зато бояре ели сытно,— наголодались, захудели: иной был в нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скоморохов и дудошников.

Привели скоморохов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю,— один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики, — Наум: сытый, и борода расчесана, а глаза мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует — кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладиной.

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок никто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое

в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год насыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет. Да с тех же дворов сходится на всякий год запасу — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадушек соленых лягушек...

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали бояре, — тряслись на лавках.

Вдруг один дворянин встает и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В прошлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он — шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо, — говорит, — мы его возьмем... Я сам дело разберу. — И он опять засмеялся. — Ведь дурак правду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве — всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку. Жили мы большой семьей в орловской вотчине. Царь Михаил умер. Начались опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и палаты, заводили новые порядки. Москва богатела, но в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу, — искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а народ — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять беспокойно, — шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, Христа ради, в Преображенскую пустынь, поклонитесь блаженному Нифонту.

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть, — расскажите нам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был он великий душегуб и злодей. В пустыни принял великий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и божью мать, и ругается черно, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь, — не мог ее выломать, кидался к окнам, к решеткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумен велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколосился, — буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берет их на руки, и целует, и глядит, и глядит им в глаза, и детям от того легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый петровский пост я с семьей пошел на богомолье. Посетили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной, — покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, в черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто травы не касаясь ногами.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой,— ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак,— превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы—халат из пиренейской шерсти. Со скучусь, подойду к стеклянной двери,— Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнувший ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого братец мой, никогда не забыть,— хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно, — вот так, в тишине, — вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассеянное, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь

я — сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало, — чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я, — закурил папиросу и — дым под солнцем. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка, — мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, — какая сволочь люди, — унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег, — идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники, — покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помощь, по-

пробуй,— оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолице. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар¹ во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее быстро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязенького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов, — Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

На чем бишь остановился? Да, — мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви — залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет...

¹ Пинар — дешевое вино.

Делаю сладенькие улыбочки,— дрогнешь, Медея, выставишь еще бутылмент...

...Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижую, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами,— давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина,— как ее, черта, забыл имя,— из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре — женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрывка старого,— будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда — владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человеком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной,— видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки — отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

...Абазур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм воню на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни,— покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане — чистые носки и воротничок,— берегу их на особенный случай, в правом — карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезя-

щимися глазами, слушать, как звенит, звенит в голове, — пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне — тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В Готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

...Друг мой, Михаил Михайлович, — я знаю, — часа уже три бегаёт по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша, — этого быстро вы не знаете. А вдруг — зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне — зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвостовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табун девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом, — даже нехорошо, — любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало — заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома, — научил её меня в Симбирске протопоп. Смотрю — у Михаила Михайловича лицо собирает-

ся в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, расстегивает мундир, — в руках бутылка с коньяком и рюмка, — слушает и раскачивается, припухшее лицо его — бритое и красное — все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней, — надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит иступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него — не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми, — все это важно.

Его род — не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры, — зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосы святых отцов, скликал дудочников и скоморохов, — и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака, — как был — в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках, — и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле, — плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж — он как в бане моется, дрянь из него

выходит, — хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят — он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах, — премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой, — город одиночества. Идешь в сумерках — дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный, — сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка, — одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит — и голоса счастья и стоны смерти, — все сберегает — суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания, — все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

.
Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? — Только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж, — с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого

кошмарным соусом с кровушкой,— переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами,— медь о медь,— древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые — самые неостроумные — воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые — остроумные — занимались спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд — это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится,— от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал самого себя, горел в собственном чадуду. Огонек был странненький — шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони».



«НАВАЖДЕНИЕ»



«ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»

Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня — содовой и пикону. Мы курили и пили, — с утра становилось наплевать на все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дышим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало, — больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеом, — насладиться мясом и вином. Да, черт, — хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет, — дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел, — блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов, — в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях, — непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, жалкие, дураки! Я купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так, — и зарылся носом в подушку. — Так, так, — подскочил и перевернулся на спину. — Лопнула! Хи, хи. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дрыгался, как гальванизированный лягу-

шонок: «Вот тебе Византия! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи, хи. Еще хуже — духоты напустила. Бум! — колокол Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хи».

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зубами, корчился, омерзительно хихикал. Когда пришла весть об отречении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась история России. Шабаш». Он заставил меня играть Вагнера «Гибель богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день.

Париж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со строгими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топорщиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг — поехала, расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной — 185 миллионов мужесков, империя, закон и прочее, вплоть до тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спиной — холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска, — красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и, — какой уж там спуск, — даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбегу, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяснил он обуревавшие в его

лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека. Поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы свободный гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и преданна и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин потрянул старинкой, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». На счет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, что «пошлем непременно». Он носился с банкетов на фронт и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить все же было можно: жалованье платили, война продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакан с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?» — спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два на-

глейших прошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшеб-но. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущих с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразлично переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, согнал сюда грохот войны. Их было много здесь, — царство женщин. Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эспланаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безликие, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любовниками.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я же, из соображений практических, искал знакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит, приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих полушариях мадемуазель Сальмон, — шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала

такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам,— кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребке с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не поднимешь его — проваляется весь день, толкнешь — пойдет. Когда мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция,— я это ясно видел,— кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо,— немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое — Рассея — расползлась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами,— была бы у нас великолепная немечина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом... А Рассею — загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешись, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пройдет,— увидишь,— хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век,— да, да, именно,— абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру — кукиш! Ну, ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут,— французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рож-

дества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя,— били.

Помню,— стоял я на бульваре, читал газету: руки ходуном ходят, в глазах — муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Ключья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что хватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова,— старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Все мое состояние — в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я — гениальнейшим, молниеносным прозрением — вдруг отрекся от самого себя: оказалось — зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом,— то есть горлышком разбитой бутылки,— одного русского, Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было мистическое пере рождение. Уходил с бульвара уже не я, не Сашка Епанчин, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дня переменил несколько гостиниц и окончательно замел след в квартале Сен-Дени, в одной из старинных улочек, населенных проститутками, сочинителями уличных песенок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. Население в сущности жило на улице среди лотков, тележек с овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликались девчонки, полураздетые молодые люди,— пели, пищали, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь,— даже война с трудом могла омрачить ее.

Я кинулся разыскивать Ренэ — ту маленькую певичку, которая после Ниццы долгое время писала мне нежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. Это было рано утром.

Ренэ спала в старой деревянной кровати, под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худенькое и кроткое лицо, у рта — две нерадостные морщинки, на подушечке — крошки хлеба, над кроватью — фотография какого-то смазливового солдата в могильном веночке из сухих цветов: Ренэ была свободна. Но, боже, — какая нищета! Даже дверь из общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, открыла глаза, — в них появились испуг и изумление. Я бросился на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и, — честное слово, — облил ее слезами.

Я не стал лгать Ренэ, — я лишь сочинил ей ту историю, какая могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась одна и та же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших бородами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вытащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями империалистической Франции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переменял имя и скрылся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди, — глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке

Писанли, усатому старичку в черной шапочке, — он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и прокуренное, как чубук. Это и был последний представитель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время курить трубку и молчать.

Ренэ трогательно объяснила ему нашу просьбу — дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо рта трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее и опять сунул трубку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что «хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишки.

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Мистангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писанли мы разрабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми,

на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон»¹. Разумеется, негры сейчас же подхватили песню, скалясь и топая пудовыми башмаками. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругался по-русски. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завывали от удовольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем и пошел между столиками. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем монеты. Мы заработали двести франков.

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвращалась с корзиночкой, полной вкусных вещей. Суетилась и болтала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем — покуда живем, а маленькое счастье всегда при нас. Странно, изо всей сложной жизни я вспоминаю, — как вспоминают какое-то единственное залитое солнцем утро, — эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейных. Ей-богу, — человеку нужно немного!.. Да, да, — видишь — чернила расплылись: плачу... Что же из того, — плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив мне голову на плечо, кротко

¹ Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад «Марсельезу».

спала Ренэ. В углу стоял глиняный рукомойник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели привязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в корзиночке — остатки еды с вечера.

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напрягала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, хотя уже было ясно, что никакими победами не оправдать пустыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мне Ренэ.

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеанские многотысячетонные корабли. В тучах дыма загрохотали подъемные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко», — и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов, — пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженые войсками.

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно, — так же, как и нашло, — развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир, — зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока, — бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать, — сам все знаешь. Жил зверь покорно и смиренно, вертел жернов, — кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню — я проходил по Новому мосту, — на нем еще Генрих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли

мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось — десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости, — вся эта бессмыслица — только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, переулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого. Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно, — мелькают кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Ситè рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Терриен жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое ничтожество!.. Я — лишь пылинка, жалкая тень в куцем пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

— Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, пряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

— Выпьем, Саша? Пойдем.

— Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни

убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней улочке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка, — бритое лицо шелушилось, глаза выпученные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье — грязное.

— Сбежал, сбежал! — повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том — почему и как скрылся, — прерывал со смехом: — Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них святым зверем, — гаф!.. Взвыл, и в одном пиджачке вниз головой — мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоном Утиный Нос, — воровали кур и кроликов на Версальской дороге. Все это мелочи. Теперь у меня — покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я — подлец. Но все это мелочи... Погляди, ощупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь — «преобразилась неправедная земля!» и бум, — колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра — голые девчонки, слезы, — не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь, — поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и — бум. «Преобразись, неправедная земля!..»

Я слушал, — и не понимаю, жутко, — с ума он сошел:

— Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интернационал-то?

— Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопическая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не понимаешь... В России знаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица — в слезах, в слезах, и — восторг! Берите, все берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут женихи в бой, одна красная лента через грудь, — голые. По

снегам кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вежи стоят из мороженных мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей — бумм, бумм, бумм! Преобразись, несправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит — руки в штанах — наточил ножик. В Лондоне джентльмены в цилиндрах, в моноклях, лорды и герцоги — грузят багаж на вокзалах... Слушай, Саша, слушай, — это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяными пальцами мне в руку.

— Саша, я — пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, на шелковом ковре мед пил из золотой чаши... Знаешь — с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце — яростное, надменное... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу из золотого ковша... Завтра пойду нефтяное прошение строчить, разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе — шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша... Сел бы я на коня, — крикнуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мне этот крик. Да — не могу. В жизни не мог закричать, — только писк мышиный... Я в вине утоплюсь!.. Порода наша кончена. Теперь богатыри нужны, а я — пищу. Теперь — ногу в стремя, проснись, душа!.. А у меня, видишь, как руки трясутся... Саша, милый, живу я в таком восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом богатство мое...

...Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние завтраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коньяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у него так:

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил в вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направлены к познанию разложения

материи и к созданию из разложения мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу всему человечеству.

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Памира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, к берегам лазурного океана, и там, среди развалин храмов, пасти стада под звездами. И вот — заскрипели телеги, заревели стада, двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Столетие за столетием набегали и крепили кочевые волны. Родился Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлением. Затрещали твердыни Запада под ударами хана. Могучие восточные царства охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благоговениями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана, — конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе, — частокколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная — возникала вновь, как трава после пожара, — крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи, — прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком, — воротимся! не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком и — посвистывает, запекает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки, — запретить самый язык русский. Действительно, жили, — Ренэ и я, — безобидные, как воробьи, пришел потомок Чингиса, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот — кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей

было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараща друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля — Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом — *навахой*, выпил одну рюмку коньяку — и то после еды, — от кофе отказался, говоря, что это его *нервит*, и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны, как зяблики, — устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это — чтобы не было никаких законов и — поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на ноготь, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскокил к нему, как тарантул:

— Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы — просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм — от несварения кишок. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит, — анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из *цейхгауза* на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение — жареный каплун да бутылка бургундского. Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, шурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и — вовремя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови прилась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников*, о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об урагане времени, о русской революции, сеющей на закате мира семена нового завета. Он показывал разрезанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только ни заиграла музыка— в кабачке, на перекрестке, на тротуаре,— появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загипнотизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость — нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждом глазу.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом,— через три недели,— конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми записками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась,— чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я

слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу, которая привела к единственному живому уголку в моей жизни — под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему прищпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникин — тогда я опять барин, одолеют большевики — все равно я — скиф, похититель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишачными народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки, — казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели, — пялились одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда **ЧЕЛОВЕК** бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы, — не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный: Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе круги-

лись, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно весело», — и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около часа мы пробивались к левому берегу: головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля — весь перекошенный, пряменький — и начал выкрикивать лающим голосом:

— ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это — негритянский рай... Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб — цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента — на фонарь!.. депутатов — в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. Карманьолу... Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку — с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся сначала к нему, затем — бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу — третий день. Понимаешь: это — в третий день. Смешно? — хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? — крестом его, поленом, каблуками, а потом — ножки вытри о половичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желая покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами — во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она существует сама по себе, — не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться, — потухай, мир, черт с тобой. Прищурюсь на Сириус, — ну-ка, лопни Трах-тара-рах, — летит Сириус в клочки, звездный переполох, и — пустая дыра в пространстве. Так-то...

...В моем письме как будто незаметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменялось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *бессдую с тобой из бистро мадам Давид*... Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши, — пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И —

смотришь — возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной ясностью понял, что кочевые костры — не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжает по твоим ребрам, — дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку, — переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки, — я бросал их в поганое ведро не читая... Однажды прочел... Заметь, — он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане — три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке новому адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под

лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме — светленькой, в полосочку, в какой баб принимают,— и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежды пошел пар, пахну псиной и чувствую — сейчас завою от обиды.

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: «Я, дружок, решил отложить закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хи, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал:

— Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

— Ну что же, Сашура, если растоптал, значит — лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты — жучок, и подожди лапки.

— Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

— Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

— Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

— Подожди, проживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно.

— Я тебя убью все-таки.

— Чем?

— А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвие.)

— Нарочно ее захватил?

— Не твое дело.

— Это когда мы на койках лежали, ты решил?

— Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета глазами отыскал мои зрачки:

— Саш, знаешь,— ведь убить ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это никогда не

казалось? Изловчишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. Я думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне, — будто я — поджавший ноги жучок, будто Миша, застилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем — пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходил от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка, — пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак, оттуда к девкам, — старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей улочке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке? — и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала саженными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею...

.
И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие: за столом появился новый пансионер — плотный, большого роста, громогласный человек.

Он шумно ел, выпил шесть полубутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого золота.

Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным. (У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки.)

Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой.

Он налил две рюмочки ликеру «Кюрасао Канторовиц» и выпил с напротив сидящим японцем Котомарой за самую твердую из валют — японскую иену. (Котомара открыл желтые, в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками.)

Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов-второй.

Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина: «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин». (Это вогнало Картошина в густую краску; потупившись, он принялся наливать себе пива, у него покраснела даже рука.)

Он обратился бы также и к другим пансионерам фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в два пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер.

После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там, за кофе и ликером, Адольф Задер рассказал Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию.

— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине,— так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи,— мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек, он видит — я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо... но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц двести марок. (Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами.) Да, это были золотые марки.

(Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм.)

Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа,— зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей: как белка в коле-

се. Тяжело. Но — я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги (волнение среди слушателей), — на что мне одному столько денег? Я закушу удила. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю, — где поселиться: здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен? Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете — теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня доллар — три тысячи марок, а завтра полторы, а послезавтра пять. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. (Соня тревожно оглянулась на мать, Анна Осиповна поправила пенсне.)

Извините, медам, заболтался, еду в банк...

ПИСАТЕЛЬ КАРТОШИН

После обеда Картошин и жена его, Мура, пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле: «Сволочь вонючая, немка».

Они вошли к себе в комнатку с одним, во двор, окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал, длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом, — курил папиросу.

Такое времяпровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По.

Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы. Хотя, за неимением иного, не плохое было и это занятие.

Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми ли-

ствиями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал.

Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза, она не смотрела ими, а всасывалась. Она иступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда, среди ночи, он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз, на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками.

Она покупала четыре горячих сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку-шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами, тощие лица проституток. «Которая,— думала она,— которая — смертный враг?»

Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати.

— Мура!

— Что тебе нужно?

— А этот с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство. (Мура неопределенно передернула плечами.) Ты бы с ним поговорила как-нибудь. А? Взяла бы аванс. Знаешь,— я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на десять. Психологический роман. (Картошин зевнул.) По-моему, его подбить можно. Мурка!

— Что тебе?

— Сбегай за папиросами.

— Не хочу.

— Почему?

— Скучно.

— А ты не гляди в окошко. Мура, а Мура! Он сказал,— у него два вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить, черту,— гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы яркo-антисоветское издательство. Купили бы типографию. При ней — журнал. А потом, глядишь, через год — переносим дело в Москву.

Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что, точка в точку, эти разговоры повторялись каждый день. Наконец лежать без папирос надоело. Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу.

В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй, старой романтики все еще привлекали сизобритых господ в котелках, с гросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками,— они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами.

Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая и костлявая женщина лет сорока глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать,— прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.

У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обольщение. Он зашел купить папирос.

Он долго выбирал,— «Маноли», «Мурати», «Бочари» — все это была одинаковая труха из липовых листьев,— купил десять папирос и сигару почернее, для работы. Затем вошел в пассаж — посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено,— как только получит аванс, купить пенковую трубку.

Пассаж, построенный еще в восьмидесятых годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Здесь находился знаменитый паноптикум, лавки «парижского шика» и модные кафе. Счастлирое, полное надежд было время. Крыша блестела, яркие фонари освещали нарядных людей, построивших прочную жизнь на долгие века. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюр-

туках, с баками, с брелоками на цепочках, пробежали по пассажиру поглядеть на модную новинку.

Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Плодились злые поколения. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого вместе с сюртуками, баками и брелоками. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей. Пыль легла на окна и карнизы. Истлела материя на куклах в паноптикуме, моль источила их волосы. И только мрачный юноша, иностранец, да иззябшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бюст президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.

Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица — серые, унылые. Шли, глядели на никому в этот час не нужный хлам, зевали...

Картошин прилип к окну с трубками. В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал:

— Трубочки? Это — навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет?

Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сейчас же пожал еще раз, — так ему показалась заманчивой эта встреча.

— Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином, — сказал Адольф Задер и покрутил тростью.

АДСКИЕ МУКИ

«Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...»

Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела:

...Гнусный свет газа... Картошин сидит, — красный, взволнованный... На коленях у него — женщина в черном модном корсете. Волосы взбиты, шея в жилах, нос — туфель, в пудре... Оба хохочут, курят, целуются...

Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала...

— Картошин. Ты чудная, ты моя мечта, целуй меня, целуй...

Она (хохочет). Ужасно приятный мужчина...

Он. А вот у меня дома так — драная кошка.

Она. Жена твоя? Ха-ха-ха. Почему она драная кошка?!

Он. Нервная, волосы висят. Никакого влечения. Не женщина, а понедельник...

Она. Какая она странная. Как я ее жалею... Хи-хи...

Он. Давай над ней смеяться. Хо-хо-хо, она думает, я за папиросами пошел. Ха-ха-ха...

(Целуются, смеются, она гордится красотой, бельем, он — красный, счастливый — обещает ей книгу с надписью.)

Она. Твоя жена бумазейное белье носит, конечно?

Он. Бумазейное. Ху-ху-ху.

Она. Чулки сваливаются?

Он. Английскими булавками прикалывает. Хм-хм-хм.

Она. Из корсета кости торчат? Рубашка желтая?

Он. У, ты, моя радость, счастье!

Она. А ты жену брось, брось, брось...

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы дома быть, в России, — в прислуги бы пошла. А здесь — некуда, никому не нужна, все — чужие, каменные. Мечись по комнатешке. Весь твой мир — кровать, печка, диван, стол... За окном — ночь, дождь, немцы.

Мура соскочила с кровати, вплотную придвинулась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая.

ВТОРАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

В это время Картошин и Адольф Задер сидели у «Траубе», ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил:

— Уж если я поведу, — будьте спокойны: напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы.

— Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом,— вот, думаю, человек, который умеет жить...

— Живем, хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать! Чего она ждет, о чем думает ее мамаша? Чокнемся. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца — вы, наверно, слышали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, гозыри, кинжал,— удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в конвое его величества». Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы... Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел,— дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терещенко, Гаккебуш со своей «Биржевкой»... Наконец между нами — Суворин... Я организую, я даю деньги, я всюду, но я — инкогнито... Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин

Константинович... Но об этом я буду писать в своих мемуарах... Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк... Сейчас я приехал в Берлин — осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств... Что вы на это скажете?

У Картошина вспотели даже глаза. Он отставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства, с ярко-антисоветским направлением. Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями...

— Бросьте,— сказал он,— это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, дьявола, но чтобы это было нарядно, денег не пожалею...

— Я бы мог начать писать роман, захватывающая тема...

— Я вижу — вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Пишите,— вы продаете мне роман... Условия...— поставьте цифру сами, я погляжу после того, как подпишу... Обер, еще вина... Можете этим мозельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо — сколько вам нужно на ближайшие два дня? Возьмите двести долларов. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать.

Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль. Картошин, растерянно и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.

КИПУЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Адольф Задер проснулся от треска будильника в без четверти девять. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штиблеты, сопя пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды.

Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Пошел к двери и крикнул: «Эмилия, мои газеты!» Взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Повторяя: «А! а! а!» — сильно ладонью потер череп, пошел к зеркалу, и в это время ему удалось пристегнуть одну из половинок подтяжек. Шепча ругательства, надел воротник и галстук, — синий с золотыми диагоналями. Вернулся к газетам... И так далее, до половины десятого, Адольф Задер непрерывно боролся с закоренелой неврастенией.

К десяти ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.

Шофер повез его на биржу и ждал его там два часа, затем ждал около банкирской конторы, около парикмахерской, затем повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания, от первого до пятого этажа занятого типографиями и складами бумаги; затем Адольф Задер приказал повернуть к Моабиту и ехать не быстро, причем опустил окно автомобиля и все время оглядывал проезжие унылые улицы, точно что-то выискивал. Затем крикнул адрес пансиона. Но по пути вдруг застучал в стекло, выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым, прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок и Адольф Задер рассматривал, шурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая.

В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги.

Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком покойного коммерции советника. Фрейлейн Хильда вышла к обеду в цыплячье-желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во все время обеда с Адольфа Задера выпуклых фронтальных глаз, — взял его на прицел, с си-



«ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА,
ИЛИ ИБИКУС»



«ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА,
ИЛИ ИБИКУС»

лой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю замученность Мура постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону,— ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату.

После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе», взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебристый хохот Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и — голову в руки, а густой голос за дверью говорил, говорил, вытаскивая, как песок, у Картошина всю душу.

Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.

— Помещение для редакции найдено? Что же вы все утро дремлете? — сказал он, таща с вешалки пальто... У Картошина мелко зазвенело в голове.— Обегайте весь город, две комнаты под контору, третья под склад, завтра я хочу иметь редакцию.

Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу:

— Беру на себя смелость спросить: могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно.

— Шесть часов, кафе «Кёнигин».

Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал:

— Я готов, если вы настаиваете.

Адольф Задер щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел, как на верху автобуса проехал в незастегнутом

пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищурился на чудовищные, с иголки, автомобили, — целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому, с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ремennую лямку большой собаки с эмалевым красным крестом, — она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне.

Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Пф, мы им покажем». Непроизвольно сами ноги поднесли его к другой, блестящей витрине, куда глядела шикарная женщина: мягкое плажье, черный длинный обезьяний мех на шее и подоле, под мышкой — ручка зонтика из слоновой кости толщиной в полено, маленькая шляпа парижской соломки — на семьдесят пять долларов без обману, и — роскошь форм, любовно колышущихся под чудным платьем.

Мутно взглянул было Адольф Задер на эту носительницу прелестей, но попятился и сейчас же перешел улицу; он не был охотник до сорокапятiletних женщин, да еще жен знакомых дельцов.

На углу к нему подошел молодой человек, одетый, как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом:

— Я согласен, если вам нужно.

— Завтра на этом углу, — коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин. Выбрал две шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую. Здесь он уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышне-блондинке с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Беседа с ней была содержательнее знакомства с вечерней газетой. Адольф Задер вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Затем не спеша он пошел в «Кёнигин» — небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сел подальше

от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко.

— Садитесь. Я вас слушаю,— сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные карманчики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке...

ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

— Положение крайне тяжелое,— отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом.— Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в шестнадцати боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал.

— Мой принцип,— сказал Адольф Задер,— никогда не оказывать единовременной помощи.

— Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В тридцати километрах от Берлина у меня семья,— супруга и четыре дочки, младшей шесть месяцев, старшая слабосильна, в чахотке, две следующие хороши собой, в настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук, как-то — картофелем и овощами. Духовной пищи никакой,— девчонки малограмотны.

Адольф Задер потянулся в карман за спичками; полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.

— Все мои сверстники, однополчане — в генеральских чинах. В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему довольствию. На мою судьбу выпало — строй, строй и строй. В гражданской войне только слышал о тыловой жизни, — видеть, повеселиться не пришлось: бои, поход, эвакуация; сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Констан-

тинополе варил халву, состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву. В Берлине варил тянучки. В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в «Забубенной головушке». Вчера смотрю — в зале сидит генерал Белов: в училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь: «Любим, любим, никогда мы не забудем». Обидно.

— Ваши политические убеждения? — спросил Адольф Задер.

— В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать, — и сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба.

— Работать не отказываетесь?

— При условии ночного отдыха в три с половиной часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении.

На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом купидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты. Адольф Задер поднялся.

— Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина.

ТРЕТЬЯ АВТОБИОГРАФИЯ

— Вы знаете — приятно делать добро, — сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом, уголку в старом, готическом ресторанчике. Кончали третью бутылку вина.

— Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство.

— Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах. На что мне деньги? — как сказал поэт. Ну, хорошо — заработай я в десять раз больше Моргана — оттяну я мою смерть на четверть минуты? Скажите, полковник?

— Никак нет, не оттянете.

— То-то. Четыре раза я был богат. Все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди — сво-

лочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они — сволочь? Полковник, — скажите, — виноваты?

— Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты.

— Вы умный человек. Вы меня понимаете. Сколько раз бывало: придет дамочка, плачет и все врет. Ну, хорошо, — я ее выгоню, а что из этого? Лучше я ей дам денег, — и мне приятно, и ей приятно... Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно, — вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, — плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал, — не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой и мылом. Собиралась толпа, я не плохо торговал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой! Я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь — это газеты! Я узнал людей. Тянул лямку два года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным ковбоем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. Это остатки варварства — человеку ездить на животных, — мы не кентавры. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов.

— Полтора миллиона, — задумчиво повторил Убейко.

— Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода — я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем — война на Балканах, — я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в четырнадцатом году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами онкольный счет. Я изображал характерных стариков, — находили, что талант. Но началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссий-

ской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шляпин звонит: «Адольф, что ты там?..» Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я заключил сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лекторы должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в деревянном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся, мои агенты не дремали, — за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешел финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия, — пробормотал Убейко.

— Европейская война испортила мне печенку, — сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару, — я застучал... Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги — бумага, товары — дрянь, а люди, а женщины — мышеедина, как говорится. В Берлине, бывало, идет немец, — семь футов ростом, румяный, штаны белые, того и гляди тебя на дуэль вызовет — такой гордый. К такому человеку попасть в дом — сто пудов земли выроешь лапами, раньше чем придешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф, — мелкий, лицо нездоровое, в глазах — сок, слеза, и он сам норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий, — пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету, побороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?

— Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович, готов работать.

— У меня есть идея. Вам известно, что средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту, — один, два, пять долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти навстречу мелкому

обывателю, рабочему, бедному чиновнику: зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую ссуду. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов. Понятно? Я открою ряд маленьких ссудных контор. Мы не будем вешать вывески, — зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в лавчонке, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать... К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?..

— Но если недоразумения с полицией?

— Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями, — вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население, как липку. Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова: Шейдеман вгонит немцев в гроб. Ну, идем, я должен ехать выручить одну аристократку из тяжелого положения.

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

В какие-нибудь две недели пансион фрау Штуле нельзя было узнать. Куда девались сон и уныние за столом, бутылочки желудочной воды, патентованные пилюли, подвязанные зубы, мучные супчики, кремы брюле, дождливые окна в столовой, низкие серые облака над улицей, где под деревьями присаживаются знаменитые берлинские собаки да по асфальту катаются на колесиках золотушные мальчики, бледные от голода.

Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер «Кюрасао Канторовиц». Золотые зубы Адольфа Задера, как прожектором, освещали повеселевшие лица.

Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задера; дела в Моабите шли неплохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Семенов-второй рассказывал курьезы из жизни актеров в провинции. У не-

го уже был разговор с Адольфом Задером по поводу расширения дела с «Забубенной головушкой». Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами «Безумная девственница» и вся была пропитана грозovým беспокойством этих духов. Фрейлейн Хильда похудела, как москит, стала прозрачной.

Часто приходили с улицы бойкие шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штуле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота.

Адольф Задер слегка располнел за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега.

Убейко начал уже ежевечерне приносить выручку, — вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа облечена была тайной.

После трудового дня Адольф Задер водил сотрудников освежаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах, в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше — сыро шумели липы бульвара. Еще выше — в разорванные облачка, в летящий никому не нужный месяц падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы.

Хотя немцы попадались. У выхода из театрjка сидел на тротуаре человек, — бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке — крест. Подняв лицо, он выл глухим, диким голосом песню, — протягивал к проходящим алюминиевые руки.

НОЧНЫЕ БЕЗУМСТВА

— А, Картошин, ну как?

— То есть что — как?

— Говорят — вы стали гордый. Скоро журнал?

— Выходит через две недели.

— Пальто это новое сшили? Ишь, хорошую палочку завел. Настоящая слоновая кость?

— Кажется.

— Так через две недели? Напишем. А издательство?

— В печати два сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.

— Вот повезло человеку. Ну, пока.

Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел далее, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу — круглые роговые очки (немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням). Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру, — на завтра предстояли платежи.

— Картошин, здравствуйте. Я к вам заходил.

— Я принимаю в редакции от трех до пяти.

— Загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную. Сочно, густо... В центре — любовь. Петербург, вывески с буквами ять. Треуголки лицеистов. Гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим, сходится. Берлин. Радость от белого хлеба, — вспоминайте. Кружка холодного пива! Вдруг муж появляется. Психологический клубок. Два листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по восьми долларов за лист.

— Хорошо, принесите, я прочту.

Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк.

Картошина словно укололо в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, ощерив зубы.

Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить,— мы уже условились»,— Адольф Задер проговорил быстро: «К черту, к черту!» Картошин обиделся и ушел.

Он прождал весь день, сначала в редакции, затем — дома,— Адольф Задер к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать. Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскочил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его «сводят с ума бабьей истерикой», что он «не может писать крупных вещей, когда у него под ухом — бабья истерика». Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура отняла.

Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задер. Он был красен, потрепан, но весел.

— Чепуха,— сказал он, сдвигая шляпу на затылок,— ничего не случилось. В чем дело? Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты. Испугались доллара... В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннига. Едем кутить, я хочу жрать.

В ресторан поехали, кроме Задера, супруги Картошины, Убейко и Семенов-второй. У всех камень свалился с души,— Адольф Задер был цел, весел и полон бурных планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.

В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Иоахимсталерштрассе и Курфюрстендамм. Картошин, сидевший с шофером, поманил пальцем стоящего под липой человека в котелке. Тот подбежал и шепотом вступил в разговор.

— Только неделю тому назад открыт, останетесь довольны.

— Девочки будут?

— Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и русские.

— Едем.

Незнакомец встал на подножку. Автомобиль свернул в боковую улицу, в другую и остановился на углу. Все

вышли. На пустынном тротуаре (немцы все уже спали, наевшись картошки) появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него:

— Не шумите. Спокойно. Он вас доведет.

Подошли к воротам, над которыми была надпись: «Воскресная школа». Вторым незнакомцем прошептал: «Тсс!» — и открыл под воротами дверку в темное помещение, где Семенов-второй споткнулся о пустые бутылки. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем поднялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями комнату. У стен стояли столы и детские парты, под потолком — лампочки, обернутые розовой бумагой. На стене — карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок гитарист, перед ним сизый скрипач в смокинге — человек с провалившимися щеками, — они играли полечку так тихо, как во сне.

Когда компания Задера разместилась за столом, украшенным бумажным цветком и двумя пепельницами с надписью: «Пиво. Берлинер Киндл», — с одной из детских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались. Гитарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцующими мертвенно-бледное лицо.

Подскочивший к Адольфу Задеру хозяин сказал с польским акцентом:

— У нас художественная постановка дела, посмотрите до конца, сейчас начнется съезд, я выпущу лучших девушек Берлина...

Действительно, внизу послышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания — знакомцы Адольфа Задера. Сдвинули столы. Спросили шампанского. Появились новые девушки, без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил:

— Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки, это девицы из лучших домов.

— А голые, — скоро голые? — крикнул Картошин.

— Тсс, пожалуйста, говорите немножко тише... Голые женщины с половины третьего...

Появилась третья компания — тоже знакомцы, — они привели знаменитую московскую цыганку, от песен

которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задер, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу:

— Вошло солнце красное!

Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладошами:

— Давайте петь. Чем мы не цыгане! Гей, Кавказ ты наш родимый!..

Цыганка сделала сонные глаза и запела про Кавказ. Адольф Задер, а за ним все гости подхватили припев, плеща в ладоши... Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, Адольф Адольфович дорогой». Начали славить. Картошин поставил бокал на ладонь и подал его Задеру. «Пей до дна, пей до дна» — ревели гости. Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи.

— Чем не Яр! — закричал Адольф Задер. — А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отделявали лучшие художники. Ха-ха! Бывало — генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня. Два хора цыган... Всем подарки — золотые портсигары, брошки с каратами, кому деньги... Эх, матушка Москва!..

Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам. Пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задер вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами. Но все же вошел в коридорчик. У двери в уборную явственно невидимый голос проговорил: «Продавай доллары». Адольф Задер сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонялись. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасна была опускающаяся на глаза пыль.

Когда Адольф Задер вернулся в залу, томный и мутный, — около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами.

У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени — синие. Музыка еле-еле слышно наигрывала вальс «На волнах Рейна». Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала руки, пересту-

пала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем.

Адольф Задер сел спиной к ней, уронил щеки в ладони:

— Уберите от меня эту — с кишками!

Появилась вторая танцовщица, — полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами; она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Музыка заиграла «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (из уважения к русским гостям). Голая женщина села на пол и принялась кувыряться, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу, на полу перекатывались — соломенная голова, медные чашки, толстые коленки и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас, — губы перекривились, запрыгали.

— Зачем? — закричал он. — Не хочу! Не надо!

Он стал пить из бутылки шампанское, покачнулся на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудаhtала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек. (Тоже напилась.) Надо было кончать веселье.

ПОХМЕЛЬЕ

Адольфа Задера втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали выползать только к трем часам — на угол, через улицу, в кафе Майер — пить содовую и шорли-морли. Выяснилось, что утром приходило много народа — спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался — кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение.

Так игрок, пойдя по банку, где сейчас — вся его жизнь, — вдруг положит заледеневшие пальцы на две карты... Судьба уже выкинута: вот они — синий и красный крап... Лица их повернуты к сукну. Но приподнять уголок, — рука застыла, сердце стиснуто...

Адольф Задер пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Не хватало решимости купить ве-

черную газету, заглянуть в биржевой бюллетень. Пришел Картошин; прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра», — сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задер. Он взял автомобиль и поехал за город в Зеленый лес.

В рот ему дул сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках. Дети собирали сучочки и еловые шишки. Промчался поезд по высокой насыпи...

«Очнись, опасность, очнись, Адольф Задер... Но разве я знаю — что нужно: покупать или продавать?.. Я потерял след... Это началось... Это началось... Не помню, не знаю... Это началось около уборной, мне кто-то сказал... Нет, раньше, вчера... Когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина в смешной шляпке пирожком, худая, старая... Да, да, тогда я подумал: это одна из клиенток Убейко... У нее тряслась голова... Вот и все... Нет, не то, не она...»

— Шофер, какой сегодня день?

— Четверг.

— Как, завтра — пятница?.. Вы с ума сошли!

— Что поделаешь, господин Задер, пятница день действительно тяжелый, да зато другие шесть легкие...

Адольф Задер вернулся в пансион за полчаса до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задер вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик.

— Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? (Она только мигнула медленно три раза.) Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья, — пошатнись я, — разбегутся как паршивые собаки. Я не жалуясь. Я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг.

Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно, она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения.

— Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением, не считайте меня за нахала. Сейчас я пройду к себе. Когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение.

За ужином Зайцевых не было. Адольф Задер после второго блюда пошел к ним. У Сони было заплаканное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задер поклонился и вполголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

На следующий день, в полдень, Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взял телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся:

— Где Задер? У вас?

— Нет. А что?

— Разве ничего не знаете?

— Нет. А что?

— На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это — Черная Пятница.

— Какая пятница?.. Не понимаю...

— Сегодня пятница, тринадцатого. Бегу его искать. Приезжайте на биржу.

Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черепаховых очков. За квартал до биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции.

На верху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один, тучный, в визитке, сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой, застывшей улыбкой.

Наконец из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задер. Голова его была опущена, в руке — обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов.

— Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?

Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурок:

— Машина новая, хорошая, сами знаете.

— Новая, хорошая,— закричал тонким голосом Адольф Задер,— так берите ее себе... Я вам ее дарю... Поняли вы, дурень...

Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать,— Адольф Задер вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая: он, гримасничая, нахлобучивал шляпу.

А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались,— стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь.

За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло валериановыми каплями. В комнате Зайцевых было, как в могиле. У телефонной будки шепотом совещались, курили, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю — ничего не бойся». Но он гневно отворачивался.

В пятом часу позвонили в парадной. Вошел Адольф Задер, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к нему. Он ответил спокойно:

— Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее.

Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы.

Убейко побледнел, покрылся землей:

— Если он пошел спать,— значит скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги.

Спустя некоторое время вдруг яростно протопали каблуки, щелкнул ключ, и голос Задера спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора:

— Никто не звонил? Что?

Подождал. Дыхнул. Запер дверь. Каблуки заходили, заходили. Стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задера полетели на пол баш-

маки. Заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал:

— В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература.

Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике.

— Пойдемте пиво пить.

Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейко остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задера грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери, задыхающийся, шамкающий, не похожий на Задера голос спросил:

— Не звонили? Никто мне не звонил?

Убейко лег головой в руки на камышовый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задера поспешно, шепотом, спорят, бормочут. Он думал о четырех своих дочерях, не знающих грамоты, о жене. Чтобы подавить жалость — кусал большой палец. Когда часы окончили бить десять — в комнате Адольфа Задера раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Из всех дверей выскочили жильцы. Один Убейко остался спокоен и звонил уже в комендатуру.

Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба, — все, что от него осталось.

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

КНИГА ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

— Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу — стучат кузнецы. Гляжу — табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные — смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь, — и — хватить за руку: — Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я — цыганке: «Сейчас позову городского, отдай деньги». Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок, — она говорит, — не серчай, а то вот что тебе станет, — и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки. — А добрый будешь, золотой будешь — всегда будет так», — задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел, — и денег жалко, и крючков ее боюсь, не ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба,

полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю, — время мое придет, не смейтесь.

Друзья Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого — только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович, — нужно предварить читателя, — служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо милостливое, грудь узкая, лобик наморщенный. Носил длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы.

— А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба, — повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров, — сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулеву шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозвищу Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же, — судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен

Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать,— пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение,— привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая parmi присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил фэйфоклок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный,— просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами,— война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомишься с приятным человеком,— хватать-похватать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам сниться: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахара, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг — дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же — дзынь! — зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

— Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

— На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

— Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами — про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время слышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатерингофском канале лавошники околодошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стучало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты — темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

— Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» — «Здесь она». — «Брось, идем, ну ее к черту...» — «Ну, так она на другой лестнице...» — «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

— Я останусь.. Не прогоните?

— Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

— Какой ужас! — сказала она и стащила с головы платок. — Не спрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не спрашивать. Она опять уставилась на него, — глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

— На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободрительных слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

— Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете — меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

— Простите, сударыня, я по обхождению, по одежде вижу, что вы аристократка.

— Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно — почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, гляжу — окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

— Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване — ррррр — разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали му-

рашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливаться, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

— Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете.— Она проворно повернулась лицом в подушку.— Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять — мурашки, и кровь то обожжет, то дернет морозом.

— Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный,— проговорила гостья в подушку,— у другого бы сердце разорвалось в клочки — глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха — голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

— Сударыня, разрешите — чаю вскипячу.

— Ножки, ножки замерзли,— комариным голосом проплакала она,— вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитееее.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте,— он не видел, но почувствовал это,— возник и стоял голый череп Ибикус.

— Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу,— ужасно жалобно проговорила гостья,— а тут еще царство погибает.

— Я всей душой готов утешить. Если не зябко — разрешите, ручку поцелую.

— Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул — стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения — неделю, другую, месяц. В комодѣ, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь — дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул — прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав, — болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны, — все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье, — раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь, — голыми руками, за бесценок — бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный — толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

— У меня вшей — тысячи под рубашкой, я понимаю — как воевать!

— Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

— Землица-то, землица — чья она? — кричал третий.

Господин тарашил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

— Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

— Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на файфоклоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини, — дух захватит. Клянусь богом — видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард — камер-юнкер, но роптать нечего — пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибежала ночью, оставила на память — и смех и грех — часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь — усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи, — вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства — карельская береза, согнутые кобром кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным по-

лированным плоскостям, мудроно вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

— Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот — кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около — седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

— Ах, вы ждете денег, — сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы, — средним он надавил на незаметную щелочку, крышка отскочила, рука антиквара вошла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель — достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке — трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщи-

ны. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду — окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скудным хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умираааааем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое — достать деньги, первое — деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барухты — нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович вгляделся, подошел к лавке; странно — дверь оказалась приоткрытой, внутри — свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы, — все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор.

Страшно бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха, — Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал — тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках — принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском — купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар — «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жилет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек — где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах, — миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш, — остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатými в кулаке гвоздиками.

«И это — жизнь, — раздумывал Семен Иванович, — бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но — все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений — газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, — видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, молили языками! «Хорошо бы, — думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, — нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль — не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык — как мороженный, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал — необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полузакрываются, бледная, под

глазами тени. Ее спросят,—не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженная, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное,—охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза,—еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула футуро-творчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение — всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертами,—как это понял Семен Иванович,—но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть»,—подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами,—вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу.

Девушка подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

— Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет,— смех был не злобный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девушки, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девушка спросила:

— Кто вы такой?

— Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

— Вы не писатель?

— Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девушка опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче — то есть из чистого коньяку — и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девушке, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девушка тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лалял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребьячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девушку звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась,— уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

— Едемте ко мне,— неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

— Это что еще такое? — и ударила кулачком по столу. — Что хочу — то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку.

— Ненавижу, — прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорщилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» — выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату, — граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

— Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок, — книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошок и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще — втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрывает глаза:

— Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове ясно. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

— Мы, графы Невзоровы, — начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом, — мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком род-

стве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови,— и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки — на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня — чтобы никаких революций!.. Бунтовать не допускается, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Винуваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой — только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень — корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну», — бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день, — неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и непо-

движного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза — заплаканные, полузакрытые. Рот — резко изогнутый, соприкасающийся посередине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

— Опять он стоит, тьфу, — бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

— Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко — пусто, раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом, — встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой — Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого — неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» — «Прошу не волновать дам!» — кричал председатель Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне». — «Не Викжель, а Викжедор¹, и не за

¹ В и к ж е д о р — Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.

нас, а против, не понимаете, а вносите панику», — бацили из-за печки. «Господа, — надрывался Человеков, — прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двуствольным ружьем сказали:

— Если дорожите жизнью, — советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух — ах, — и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

— Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю, — сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

— Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища, — врач за-

крыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилося одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

— Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, пронесился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо — он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась, — не напудрилась, не подмазалась, — положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

— Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

— Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человек не пу-
скал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна ска-
зала: «Иду к сестре за Москву-реку»,— и ушла через
черный ход.

За дверью хриповатый веселый голос спросил:
— Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял
папаху,— череп его был совсем голый, лицо бритое, об-
ветренное, с большим носом. Он оглянул комнату свер-
кающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднял-
ся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа
тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

— Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге,—
сказал веселый человек, расстегивая бараний полушуб-
бок,— ну, давайте знакомиться: Ртищев,— он подал
большую руку с перстнем, где сверкал карбункул,— а в
Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только
что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начи-
сто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я — иг-
рок, извольте осведомиться. А жаль — Аллочка улетела.
Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вок-
зала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Ви-
дите, полушубок прострелен. Решил — к Аллочке под
крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки.
Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок
мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку
со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на
стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по
третьей, Ртищев сказал:

— Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Ива-
нович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

— Позвольте, что это за разговор!

— Таких графов сроду и не было. Вы — авантюрист.
Не подскакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень про-
сто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

— Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это:

— Уже когда по Москве начали пушками крыть, это
значит — четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться

в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он — ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

— Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки, — только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? — спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие. — Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изю всего можно сделать себе занятие — был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой, — люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борь-

бой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнало игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты — осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдатаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игровой комнате появился косматый человек — бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

— Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

— Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

— Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста, — он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвезанное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна, — думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи, — туда же — бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? — свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекись, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор — вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком — вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение, — приобретенное на Сухаревке, — в том, что он, С. И. Невзоров, — артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску,

причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоев. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске,— человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

— Подойдите-ка сюда, товарищ,— поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки.— Что это у вас там?

— Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

— Как?

— Видите ли, мы — харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

— Я спрашиваю — это все — это ваш багаж?

— Видите ли, пока мы гостили у тети,— у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

— Не пропущу,— сказал он, пуская дым из ноздрей. Господин улыбался совсем уже по-детски.

— Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя,— тетья в Москве уплотнена.

— Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

— Кто я такой? Взгляните на меня,— господин стал совсем как ясное солнце,— хотите взглянуть, что я везу? — Он крикнул жене: — Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но — появились дети, опустилсЯ, каюсь. Для ответственной работы не гоЖусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

— А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

— Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними — человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождая небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролежавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся,— спрятаться было негде.

Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» — крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу — к большевикам — стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Смотрите, дети, — булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы

под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна — черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая — сухонькая — в огромной шляпе с перьями. «Аристократки», — решил он и, по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: — Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник — тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русской бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять — Ибикус, фу, черт его возьми!» — пьяными мозгами подумал де Незор.

— А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем, — картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе, — видимо, хорошо его зная, — попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко», — сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

— Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

— Не знаю... Подумаю...

— Сильно пострадали от революции?

— Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю — выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

— Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло, — говорил Платон Платонович. — Так вы любитель лошадей, граф?

— Странный вопрос.

— Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти, — я вам продам именье: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка — на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

— Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства, — ну, что ж, я готов», — бормотал он, плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валялись со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

— Поздненько, — сказал он, — не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, недалеко от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи», — сказал он и повел показы-

вать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм»,— повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой: «Здесь — зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня — уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

— Мужики у нас добродушнейшие,— говорил Платон Платонович,— прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и брезгливо глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор»,— подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

— Дорого мне будет стоять ремонт, выгоды не вижу,— сказал он сухо,— но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скреге-

ловку», но купил ее на имя графа де Незора,— паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове — украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны,— судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочались смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний,— судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно — советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о земле, — странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и сви-

ней, когда над ракетами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков,— в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

— Вот хотя бы немцы, — есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? — порядок, закон. Что мое, то мое, что твое — твое. У них насчет собственности — священо.

— Это верно, — отвечали мужики. — Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

— Немцы акурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати — прутьями. Вот — почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

— А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

— Барин четыре службы в городе имеет, захотел — деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется — вот будет беда. — Он засмеялся. Мужики молчали. — Десять лет будем воевать, вот штука-то! А ты — немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе, — солдатский картуз — на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома — посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Ива-

нович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе,— старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги,— свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полубморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат,— они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменял маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать — преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непрерывная стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

— Которые жидаы — выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десятков животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся — раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало, — одни говорили, что разбежалось, другие — что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымь, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирасть ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

— Опять, пожалуйста, гости дорогие, — сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль. — Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») — Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги — тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман

Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца — держали винтовки наизготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

— Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички, — сказал вполголоса самогонщик, — деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков — и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел открывать. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли, — только блестели глаза у них и зубы.

— Шесть ведер самогону, посуда наша, — сказал один, другой кинул на стол деньги. — А ты что за человек? — спросил он Невзорова.

— Я бухгалтер.

— Это как так — бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет — против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

— Эге, — сказал первый, — давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначея. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудины с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:

— Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крикнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь, — в два счета голову шашкой прочь — понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золо-

том, и опять — атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек — залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила — и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью, — даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта, — в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт, — шли на фронт, на убой, — те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон — бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин — и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

— Ты по городам болтался, — чепуху, наверно, про нас пишут? — спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) — То-то. Где им понять? Истребить эти самые

города, вот что надо. Дай срок — я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

— Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

— Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград, — ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

— За-а-а-пря-гать! — спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей — без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади — летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та, — казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел, — из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вожжи, сдунуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники, — махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась, — и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман.

Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя,—цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти — бессознательно — Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал: семь штук,—рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью плотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободраный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

КНИГА ВТОРАЯ

Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту,— он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем,— он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя,— важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу,— он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем

в Москве с колокольным звоном». — «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулочек в прачечное заведение и топчет: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами врастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове, — снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки — худые, рослые, англазированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки — русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженные артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах — пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками, — идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами, — ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители, — хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из рас-

крытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески Пересыпи, направо — длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков — в защитных юбочках и колпаках с кистями, — выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей, — утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря — сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпускающая деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению, — будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов, — и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...«Сто бидонов масла..» — «Не крутите мне голову с аспирином». — «Продам доллары, куплю доллары». — «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» — «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» — «Продам колокольчики». — «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов — только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями — продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались, — вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десятков дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапиды Навзараки, — Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия — место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымит на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там с хороши-

ми деньгами,— он это знал по кинематографу,— жизнь — сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках,— оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему: то на улице, оглянешься,— оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно — лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом,— что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегает до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

— Мерлушкой интересуетесь?

— Почему? — небрежно спросил Невзоров.

— Сто карбованцев шкурка.

— Товар или только накладная?

— Какая вам разница?

— Тогда идите к черту,— сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

— Скажите,— спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью,— скажите, а сапожным кремом вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Се-

мен Иванович проглотил слюну, — почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно, — можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так — привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этаким Ибикус, и — пошло все кувирком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы этот мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и — в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка — сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри

толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и даже тараканов... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно»,— подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь ты, рысак»,— подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович пошел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящички

комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! — и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом — желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг», — кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше — кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окно литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся, — ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за сто-

лом журналистов — Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

— Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой,— закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу,— садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются — какую мы развернем игру. Господа,— он схватил направо и налево от себя журналистов,— да посмотрите вы на графа — конфетка, а не человек. Что пережили вместе — волосы дыбом. Первое знакомство — под октябрьскими пушками,— дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

— Нет,— сказал Невзоров суховато,— с клубом я связываться не хочу,— уволь.

— Вот тебе — лук, чеснок. Ты что же — разбогател?

— Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

— Не веришь? Так, так, так,— сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

— Так, так, так,— повторил Ртищев,— а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? — Он размахнул руками, журналисты подались в стороны.— Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек,— французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын,— тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами,— сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты — большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

— Ничего я не большевик, — ответил Невзоров, — если уж на то пошло, я — анархист, в смысле идейном... Я — за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе, — пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

— Все это шутки, граф. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо серьезном?

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

— Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? — спросил Невзоров. — По всей видимости, этот каракуль — казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

— Что значит — товар казенный? На нем написано, что он — казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец, — чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев, — тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

— Сто карбованцев шкурка?

— Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев, — чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтора ста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и — бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда завтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом, — но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

— Ты что же — прямо сейчас в Испанию?

— Наш центр в Мадриде. Там — проверка мандата.

— Не понимаю тебя, Саша... Все это — ужасно глупо, романтика какая-то.

— Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с труб-

кой и другое лицо — смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал: — Нет, мне не завидно. Здесь — грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра — виселица. А вот — поди же ты — не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

— Не для наслаждения еду, — сам знаешь.

— Знаю, и все-таки это — голая романтика... Хотя ты и собираешься...

— Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то, — тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

— Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

— Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот — я еще понимаю: драка у Никитских ворот, — тра-та-та. А потом — пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв.

— Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм — как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

— Нас много, брат, — больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слезка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с сапожным кремом...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это — варта»¹. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

¹ Варта — гетманская милиция.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека,— он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втокнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять,— спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

— Сволочи,— сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса,— где-то он ви-

дел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно,— вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

— Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

— А! Невзоров!

— Виноват,— поспешно заявил Семен Иванович,— настоящая моя фамилия Семилapid Навзараки. Невзоров — это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

— Поймешь,— сказал человек у стола,— у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

— Кто здесь — именующий себя Семилapidом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник,— видимо, из бывших жандармских,— задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только нежно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

— В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся,— с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал отдельно:

— Имя, отчество, фамилия?

— Навзараки, Семилапид,— с трудом ответил Невзоров.

— Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилапид Навзараки.— И вдруг глаза полковника — яростные, выпрыгивающие — воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

— Какого именно рода товар изволите продавать?

— Каракуль.

— Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

— Какой там сапожный крем! — завизжал Невзоров. — Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

— Мерси.— Положил перо и закурил новую пушку— Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

— Гм, прекраснейшая работа,— это фальшивомонетки с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с,— это все ваши документы?

— За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

— Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

— О чем вы?.. На какую работу?..

— Я спрашиваю,— тут брови полковника слегка сдвинулись,— где мандат? Соккрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

— Ваше превосходительство, богом клянусь — вы принимаете меня за кого-то другого.

— Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте — по-английски, по чести, начистоту.

— Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я — Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился. Полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

— Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

— Штучка оказалась хитрая.

— Прикажете отвести его в *операционную*, господин полковник?

Изо всего непонятого фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втокнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть — темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки,— Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

— И сегодня он ничего не добьется.

— Ты терпи, слышишь...

— А если он по делу Шамборена опять станет пытаться,— говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложённое кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица,— нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный,— сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте,— что это за крем такой, за что они меня мучат?..

— Пытать будут,— сказал другой, бородатый.

— Ой! Не виноват! Нельзя меня пытать. За что пытать? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, сказал ему:

— Французская контрразведка получила сведения: через Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

— Имя? имя его? как его зовут? — уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок.

Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет ясел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

— Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложеного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками,— львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему,— согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По въерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

— Скажешь, скажешь,— повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

— Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели, — голова закинута, рыжая борода — задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся, — что сейчас будет?

— Ну-с, господин коммунист, — полковник поманил его пальцем, — поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хо-хо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ, — у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

— Молчать! — закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

— Следующего! — крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами, — взглянул в зрачки.

— Я все вспомнил, — пролепетал он, — не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти — двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола:

— Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточ-

ных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках, — щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

— С одной стороны, вы рискуете быть повешенным, — сказал он вежливо, — с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

— Согласен, — прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку. — Что я должен сделать для этого?

— Превосходно. Моя фамилия — Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати, — каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

— Вы хотите сказать, что Шамборен...

— Вы угадали, — удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту — тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это, — Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету, — теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

— Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или — артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России, — здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка — мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? — они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить — только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта — высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы — государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них — дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда — штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек — это сыщик. Вы должны быть посвящены. Я это вам устрою. Мы, так сказать, все кровные братья. А кроме того, предупреждаю: полковник — человек жуткий, — если попытаетесь

от нас теперь отвязаться — не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красным огоньками поплавок, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе, человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» — вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавок и растаяла во мгле, налитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович из всей силы побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж,— раздумывал Семен Иванович,— может быть, Ливеровский и прав, и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России,— в руке кусок гнилья: старый мир — труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж — гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда — гм! А люди — мошенники, он прав,— бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое испытание болтает Ливеровский? А между прочим, плевать,— не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире,— в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтиновый пробор и

шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво, бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции», — и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» — закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку на двое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

— О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

— Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные — напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете, — а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались — так и растеряли друг друга.

— А скажите, — спросил Ливеровский, — вы не знаете, случаем, где сейчас такой актер — Шамборен?

— Он здесь, — лицо молодой женщины стало нежным от улыбки, — но он же не актер, — художник. Ну, он такой чудный.

— Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

— И опять все то же,— сказала она,— вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

— Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

— Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять,— она поднялась,— все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими — к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее,— она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

— Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи,— сказал Ливеровский,— я это понял в ресторане. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый,— ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался — московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» — портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ногтями ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу,— исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерibasовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

— Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал — не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

— У кого именно?

— Ах, ну у этого — журналиста.

— Бритый, ходит с трубкой?

— Ну да, терпеть его не могу.

— Не можете ли объяснить, — спросил он еще, — почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков попытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимание на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из ре-

вольверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия,— так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штилеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодущия.

Эх, благодущие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофе, мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь,— на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развдыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду,— подумал он,— уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

— Дома! Ну, так и есть — кофе пьет! — над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыв окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения.— Че-

тыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

— Поймали?

— Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению, — один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо — в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было — красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более уплотняется гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это — длина боя судовых орудий — восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

— «Наступают решительные дни борьбы,— продолжал читать Ливеровский.— Французское верховное командование не только во что бы то ни стало решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

— Так,— Ливеровский швырнул газету под диван,— решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация,— я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся

разведка была брошена — ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский — давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение*.

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу, — там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало, и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одеситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоял всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мгlistым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжело навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал

Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал», — дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не открывает. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

— Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

— Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели — Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив — апopleксического вида огромный француз в темно-синем военном плаще

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабая ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович

мелко дрожал в своем пальтишке,— у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!..» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, оцетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними — Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним — рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французцу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

— Эти двое, карашо,— сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел на руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

— Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька — григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы — шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу,— видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

— Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

— Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

— А студено,— сказал он,— тельник промочило, недолго и застудиться.— Он открыл великолепные, белые зубы, но усмешка так и осталась на губах,— застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буюк с разбитым фонарем,— лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт — двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

— Будете работать наверху, мосье? — спросил он по-французски.

— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо,— ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором.— Матрос идет первый,— сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

— Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

— Часы серебряные отошлите жене,— сказал он Ливеровскому,— не забудьте, пожалуйста.—И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

— Не я, не я, это не я, ошибка! — и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:

— Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена,— «иди, иди!..». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

— Стыдно, граф,— баском сверху прикрикнул ротмистр,— давайте кончать.— Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой,— француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный, цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо,

что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробежавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г.

Ген. д'Ансельм

— Эвакуация! Эвакуация!.. — донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, — никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют в худшем случае.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация», — ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у паровой трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями, — ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки, — вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуаций. Человек вывертывается наизнанку, как карман в штанах, — едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку и — ничего себе, только борода развеивается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной

привычке собрались было на углу Дерibasовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших,— узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуаций, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно коротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде,— увоооозим за гранииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов,— груженые людьми и чемоданами,— уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

— Граждане,— кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа,— дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, ба-луй,— хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях,— оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.

— Господин офицер,— шумели у сходней,— да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

— Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блесками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой, или с немкой, француженкой — совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил,— в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выразалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это — ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения, — таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетаскивали с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол — чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мгlistых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

— Вы возьмете на себя носовую часть, — говорил он, посмеиваясь, — я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компани — дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения — курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна, — вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала ра-

ботать монархическая контрразведка. Держите ухо остро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе — это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами, — думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса, — доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше — то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я — сыщик, а еще немного — и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе — военный доктор.

— Не спится? — повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо. — Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, пожевал папироску.

— Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте, Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из

нужника, убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь — царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, — свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы, — доктор хрустнул зубами, — Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободоушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж — где пуп земли, ясно? — и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

— Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению, — нет. Реестрики — сколько у кого взято взаймы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

— Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро — вот что я вам скажу — недобро.

А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь,— спать не могу,— ох, не страшно бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

— Какие штуки сходят? — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

— От кого я в восторге, так это от большевиков,— сказал он и сплюнул,— решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем — глядишь — через полгодика и расчистят нам дорожку,— пожалуйста.

— А кому это — вам? — спросил Семен Иванович.

— Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевиков есть чему поучиться.

— Ну однако — вы слишком смело.

— Говорю — у них школу проходим, дядя.— И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках, и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без во-

ротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит,— говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан,— постучали в дверку,— надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутылку с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

— Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

— А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

— Для спекулянтов. Одни жида в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

— Нужно верить — все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так,— быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка

выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка.— Наш физический мир — лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

— Гигантскими шагами,— за час — столетие,— мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны — исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар — наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облакачиваться, то так облакачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварьям. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам,— во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, са-

харные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко избегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий — почти все с женами и детьми.

— Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма, — говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне, — страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге, — мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

— Полгода, благодарю вас, — проговорили из темноты, из-под нар, — вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодьям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

— Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

— А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты,— так же, что ли, станете благодуше-ствовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды — бифштекс,— вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? — пожалуйста. Японцам — Сахалин за помощь, англичанам — Кавказ, полякам — Смоленск, французам — Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

— Ну, уж извините — вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе — не торгоши, не циники, не подлецы.

— Эге!

— Ничего не — эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже — эге? А французская революция — это эге? А Паскаль, Ренан — эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

— Значит, одесская эвакуация тоже не «эге» по-вашему?

— Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

— Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

— Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива — во сне даже вижу.

— А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольтском картоне с золотым обрезаем. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским,— помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плевел при всех

орденах, военные, цвет адвокатуры, лев Плевако, именитое купечество,— все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома Все, говорит, это — и развел руками под куполом,— не мое, все это ваше на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

— Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

— Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

— До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.

— А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

— Что же — дальше повезут?

— Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

— Собаки-то при чем же?

— Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

— А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.

— А что теперь в Париже носят?

— Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платяцах чах-

лые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

— Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

— Это тебя-то? — спросил Щеглов.

— И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, — нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

— Жалко, тебя раньше не слушали.

— Вернусь — теперь послушают.

— Сегодня что-то ты расхрабрился.

— Я всю ночь думал, представь себе, — сказал драгун, поправляя фуражку, — так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там. . Шалыпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеклом по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

— Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забежали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так, — подумал он, — про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тща-

тельно вписал весь разговор. «Так, так», — повторил он, шурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщину тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги паровой машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в этих газетах, — у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать, — горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, — мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, — прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда, — едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди, — дешевка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя, — даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы, — мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк, — войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова, — будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина, — сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам, — платишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка, —

с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой, — разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит, — даже осунулась вся, — как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно — богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился, — хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице, — помню, помню, — мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал, — вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файф-оклоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако, встретились... Но припадать уж не могу, — далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки, — Семен Иванович задохнулся волнением, — подождите, недолго — все будет: и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно, — на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков, — почему-то подумал Семен Иванович, — но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники устали и уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо: — Что же долго думать, — позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе, — зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю», — думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суэта затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одиноким дьякон, сидя под мачтой, с душой раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство, — кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонями, видимо сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

— Вот, убирайся к черту, а куда? — обратился он к Семену Ивановичу. — За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! — простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора — огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

— Пяти минут не дадут заснуть, — проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой, — разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

— И Высшему монархическому совету, — проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) — Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас несколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники..

— Террором? — прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

— Да,— коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечки упал ему на лицо,— это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

— Очень хорошо,— сказал он,— мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи. мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков,— сказал молодой человек,— если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: молчание.— Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза.— Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский

комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

— Достаточно,— проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в верхушке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели — Ибикус?» — подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задрезжалось в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

— Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам срок две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

— Еще один брат по духу не спит,— заговорила она сонным голосом,— я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам доверие. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди,— то есть и она в том числе и Семен Иванович,— жили на солнце в виде растений — головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароводного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила — все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пёра.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. На лево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула — минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

— Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

— Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

— Вот тебе и Царьград. Здравствуйтесь. Прибыли.

— А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да — крест... Эх, проворонили...

— Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

— А говорят — турки все-таки страшная сволочь.

— Совершенно наоборот — благороднейшая нация.

— И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять — негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное мясо, торчать на вонючей палубе, что это — издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? — довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядывшись — уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше — придет пароход Добровольного флота, — облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пёра — хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфель по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли наизготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах слышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел — рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негрятя — откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и

было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горячие пески. Напряженность всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спыхватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских, — сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу — схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться — надежнее...

...«Ну, как я этого черта убивать стану,— думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе,— стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж — от самодурства, от злости, от бобов с салом — распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних — носовом и кормовом — трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже — вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг — все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике

и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными — жгутом — погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велют всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа,— думал он, несколько стыдясь своих ног,— ну, не знали... Ай ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться,— систематически доведут до конца... Это вам — Европа...

— Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

— Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

— Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

— Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно попахивало. «Этого вымыть — много надо мыла»,— подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душой прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

— Вот свободный душ, вы первый или я? — спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно,— проговорил он насколько мог весело,— давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава.— одежда сселась, сморщилась, башмаки испеклись,— хоть

плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбигыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгружавшегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное — тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

— Господа! — взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы, — а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем — айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость, — и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших

к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длинейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяносташестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель, — клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улице или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, выдавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро — за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица. — в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол, — из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице, — единственном месте встреч и гулянья, — с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились на показ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед го-

рячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

— Графиня, как спали?

— Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

— Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала, — нет ли новостей?

— Окромья пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

— А когда в Константинополь?

— Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши, — зайдете в кофейню.

— Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, — остатка от греческого погрома четырнадцатого года, — играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, вите, Венизелос» — утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырнул в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

— Лидия Ивановна, как спали?

— Ну, оставьте, пожалуйста, мы еще не ложились.

— Все кутите?

— Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору — смотреть вид. Потом — купаться. Нет, право, здесь чудно.

— Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди — клопчик.

— Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри — золотое дело. Надо отдать справедливость Семenu Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами — ибикусами, — он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с не-вентилированными мозгами, набитыми трухой предрас-судков о дозволенном и недозволенном.

— Дозволено все, господа, откройте форточки, — говорил он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил, — и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

— Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа, — толковал он тому же офицерству. — Революция, пролетариат, власть Советов — одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства

над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше, — на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо — с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

— Верно, правильно, браво, главное — умно, — шумело офицерство, дымя папиросами.

— Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопают, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них — дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам — у себя в именье — из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают — Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал», — оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить — опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов, — они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные парходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовой! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом — развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня — стирка в ручной чашке истлевшего белья, на ужин — остатки кролико-

вой кошки, в минуту тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

— Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Карааргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула — прочное бидэ с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова, — здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, поглядывая на себя в стенное зеркало, — из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова лицо.. Странное глядело лицо... Перекошенное,

с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка,— сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на улице было мало в этот час.— эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица»,— подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску,— сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича,— и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, тот-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ошпыивал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность,— остаток варварства,— опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

— Ну, а теперь пожалуйста со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

— На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача — вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно — аристократы живут,— подумал Семен Иванович,— быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

— Здравия желаю,— достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хрипловатым шепотом:

— Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

— Морду разобью.

— За что-с?

— Разобью морду — тогда узнаешь за что.

— Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

— У, сукин сын, дерьмо,— говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

— Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

— В первый раз вижу такое обращение,— Семен Иванович прищурился для выразительности и загордился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил:

— Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

— Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит целый день в номере, на прогулку выходит — где людно. Я бы с радостью с ним покончил...

— Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

— Ну, для чего же, господин Прилуков...

— Потрудитесь молчать. Вот револьвер.— Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол.— Он принадлежит

известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается — где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

— Миша, позволь — ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

— После этого буду свободен?

— После этого можете убраться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни, — а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда, — в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым, — непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм, — сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это — день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберегся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть,— низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на зад и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения,— корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

— Вы что это — обрились? — мрачно сказал Бурштейн.— Я сразу и не узнал, странно, странно...

— Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился,— пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб,— со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

— Гуляете?

— Знаете, погулять вышел.

— Странно, странно. Я вас только что видел,— вы против гостиницы сидели, терли глаза.

— Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмисурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

— Выньте руку из кармана! — И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко. — Так и есть, это мой браунинг.

— Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, вращал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выпросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова, — оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, брошенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день, — третий случай слабости. Нет, — в герои для повести Семен Иванович никуда не годился

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

— Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо,— Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой — на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал,— это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович,— все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горячими слезами. И он неумело заплакал.

На Пёру блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатязычная толпа шумит, суется, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсиновые корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Пёру, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеклом себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Пёру кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках,

с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Пёру, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, растленные звуки оркестриков. Вся эта суета — высоко над морем, на Пёру.

У подножия Пёру — этой международной части города между мостом через Золотой Рог и парходными пристанями — начинается Галата — узкие, грязные портовые кварталы. Это — подол Пёру, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров,

пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых — двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадетсЯ и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Пэру, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же — зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, мало доходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мамэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

— Русский, хочешь девочку из султанского гарема? — вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий, — ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» — и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию, — один скутариец пригрозил ему даже выпустить

кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапывал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки», — вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас, — стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Пёру в Стамбул через мост и из Стамбула в Пёру, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты, — думал Семен Иванович, — жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще — цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

— Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик, — вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

— Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный.

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным вином глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место,— в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто,— возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

— Граф! — крикнул он, — это ты! — обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

— Торгую женщинами, — солидно ответил Семен Иванович.

— Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот — слепые окошечки с выставленными кальянами, — здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот разма-

леванная розами дверь,— здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплётками,— это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами,— покрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы,— они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо — благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» — цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли — до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крошончик. Мило, тонно. Представь — двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

— Обокраден, избит, видишь — синяки.

— Жаль,— сказал Ртищев раздумчиво,— у меня план — снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

— Запрещено, я уже думал.

— Что ты говоришь? Ну, а в «тридцать — сорок»?

— Запрещено.

— Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился — по желанию, когда угодно, повернет, и — «зеро». Он говорит, рулетка — золотое дно.

— Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомоёйнику и облил голый череп из графина.

— Ну, хорошо,— все еще кричал он,— хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распроследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

•

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы,— больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половине изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали. Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазили несчастные, — самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это — портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат:

ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и — халвы, рахат-лукума, шербету, за сахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор, — кричал он Невзорову. — девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

— Здесь — святая святых, — сказал Ртищев, — после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

— Если бы деньги, если бы деньги, — повторял Ртищев, — весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

— Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

— В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню, — спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал, — не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало — не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страу-

совых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платишке, но завитая и наруганная, как кукла. Все было в порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке — что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками, — сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий, страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет, — счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

— Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали, — чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волынку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

— Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

— Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заметались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он закончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

— Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасти положение. Ртищев, взглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городовой, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке, — точь-в-точь как портрет его на двери.

— Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надирать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

— Делайте вашу игру. Заметано, ребятишки! Четыре сбоку — ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык,— Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Больной грек Синопли слабо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту,— уничтоженный, брошенный судьбою на дно,— он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды,— и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол бежал таракан. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак»,— и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаюсь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалят вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— *Тараканьи бега.*— Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов.— Этого оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного,— плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения *беговой дорожки*, то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

Народное русское развлечение

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи

бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, держа щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения — тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту — трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

— Еще один заезд, — восклицал Ртищев, — самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит — номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Пэру, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, патентованные бега с уравнительным весом насекомых, или гандикап».

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Пэру. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелко-

вом жилете фрака. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, акурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Пёру, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

— Салат, устрицы, бутылку сабли и сыр,— сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет — одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее,— и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред — странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошрое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон, — вход только во фраках. В салоне — изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего — вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он — злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору, — вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни, — немного, правил десять. Но — сурово. Кто скажет слово «революция» — на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя императором.

— Фу ты, черт! — даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе. — Неужели и это возможно?.. А почему мне и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан. — В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Первый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Пёру, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве — женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбочку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву — душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу, — так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико — детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка, — если ее вымыть да обуть как следует, — бижутери...

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издали, отечески добродушно.

. :

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь — пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он — в Европе. Богат и знаменит. Перед ним развертывается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и этак старался, — нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я несколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — Ибикус». Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, — поживем, увидим. Поставь точку...»

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОВРАЖКИ

Впервые напечатан в литературно-художественном сборнике «Слово», М., 1913, кн. 1.

Один из центральных эпизодов рассказа — поездка Давыда Давыдыча к Оленьке в разгар весеннего половодья — использован был А. Толстым в очень близкой передаче в повести «Детство Никиты» (см. главы: «Необыкновенное появление Василия Никитыча» и «Как я тонул»).

Значительная стилистическая правка, вставки и сокращения в тексте были произведены А. Толстым при включении рассказа во II том Собрания сочинений изд-ва «Недра», 1929, и в III том Собрания сочинений, ГИЗ, М.-Л., 1929.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

Впервые под названием «За стилем» напечатан в газете «Русские ведомости», 1913, №№ 208, 219, 230, 242 за 8, 22 сентября, 6, 20 октября и 1914, №№ 4, 9, 15 за 5, 12, 19 января.

Под заглавием «Приключения Растегина» в значительно переработанном и дополненном виде опубликован в VII томе Сочинений, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1915.

В этой редакции автор углубил характеристики персонажей. Гораздо более выпукло обрисовал фигуру героя рассказа — разбогатевшего дельца Растегина.

В ранней редакции неясно было, как сложилось у Растегина его намерение объехать провинциальные дворянские усадьбы в поисках стильной старины: рассказ начинался непосредственно с изображения поездки Растегина по помещичьим усадьбам Н-ского уезда.

Писатель придавал несколько иной акцент сделке Растегина с помещиком Дыркиным, касающейся Раисы. В новом варианте эта сделка психологически более мотивирована и не имеет откровенного характера купли-продажи.

В измененном виде предстает после переработки биография Раисы. В первоначальном тексте: «Она — пензенская мещанка. Выдали ее замуж: муж больной, кроткий, а у нее так огнем все и лезет наружу. Ушла в монастырь; там ее всяким штукам начали учить, а как немножко вкусила запретного, — сама такие порядки завела, что у настоятельницы — женщины пожилой — родилась двойня...»

Углублена А. Толстым, по сравнению с газетным текстом, характеристика чудаковатого дворянина Щепкина. Описание его библиотеки изменено и расширено (см. главу VIII). Среди авторов, которых он читал, названы теперь Герцен, Карл Маркс и Михайловский. Как некий штрих, свидетельствующий о близости Щепкина к настроениям позднего народничества, упомянут портрет Михайловского, который он всегда держал на столе.

Ряд новых поправок вносит А. Толстой в характеристику и других персонажей.

Наиболее существенной переработке подверглись сцены, рисующие Растегина на именинах у Ражавитиновых, а также эпизоды, связанные с пребыванием его у Дыркина. Писатель заостряет сатиричность изображения ражавитиновских гостей, более красочно живописуется гомерическое обжорство и пьянство опустившихся и одичавших дворянских последышей, их сплетни у обеденного стола.

Автор исключает сцену объяснения Растегина в саду с вдовой Сарафановой.

В главу пятую вводится новый эпизод — шутовская проделка Дыркина в купальне.

При переработке первого варианта в текст были вставлены некоторые существенные для понимания общего смысла рассказа места. Так, например, в газетном тексте отсутствовали слова Растегина в конце VII главы, которые подводят итог его впечатлениям от поездки: «...здешние порядки у нас, по-московскому,

разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!»

В новом варианте рассказ приобрел большую композиционную слаженность и законченность, преодолена была эскизность изложения.

Газетный текст распадался всего на две главы. Во втором варианте он разбит уже на ряд глав меньшего объема. Заключительная, девятая, глава (скандальное происшествие с Растегиним на железнодорожном полустанке) отсутствовала в первоначальном тексте.

Сюжет рассказа о Растегине, который наподобие гоголевского Чичикова, объезжает помещичьи усадьбы, явно перекликается с «Мертвыми душами» Гоголя. Изображая последнюю стадию дворянской деградации, писатель как бы вспоминал начало этого процесса, показанного когда-то Гоголем. Этим, по-видимому, и объясняется в рассказе А. Толстого, кроме сходной композиционной схемы, наличие некоторых мотивов и стилистических форм, ассоциирующихся с гоголевской повествовательной манерой в «Мертвых душах».

Во втором варианте рассказа подобные мотивы у А. Толстого уже менее заметны и кое-где совсем устранены. Например, снят имевшийся в начале газетного варианта целый абзац, дающий обобщенно-описательную характеристику сельских проселков в уездном захолустье — место, напоминающее гоголевские отступления («За стилем», газ. «Русские ведомости» № 208. 1913, абзац третий, начинающийся словами: «Такова еще власть сельских проселков...»).

Готовя рассказ к переизданию (Сочинения, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1915), А. Толстой провел большую стилистическую правку произведения. Правка стилистического характера проводилась автором и в последующих переизданиях рассказа.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА¹

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1916, №№ 147, 149, 153 за 26, 29 июня и 3 июля. Авторская датировка — «Антоновка, июнь 1916 г.» (деревня Антоновка, где писатель жил летом 1916 года, расположена на Оке, недалеко от города Тарусы).

¹ Примечание Ю. Крестинского.

Для общего фона рассказа А. Толстой использовал свои дорожные впечатления от поездки в Англию через скандинавские страны весной 1916 года.

Рассказ неоднократно переиздавался и трижды перерабатывался автором. Наиболее значительные изменения текста сделаны в 1928 году для IV тома Сочинений, ГИЗ, М.-Л., 1928 и идентичного издания, «Недра», М., 1929.

В тексте газетной публикации давалась в начале рассказа характеристика главного героя, полностью снятая автором в издании 1928 года: «Офицер для передачи пакета, содержащего важные документы, был выбран надежный. Никита Алексеевич служил в драгунском полку; в боях на Бзуре отличился, как рассудительный и отважный офицер; под Двинском с небольшим количеством солдат задержал наступление неприятеля, спас этим штандарт и полкового командира, причем во время перестрелки был ранен в голову и грудь и на время окончательного излечения приписан к военному министерству. Он был холост и последние годы чрезвычайно воздержан; начальство его ценило, солдаты эскадрона пережили истинное горе, когда Абозов несколько дней боролся со смертью, не приходя в сознание; товарищи по полку называли его «Машенькой» за красивое, бритое, нежное лицо и знали, что он никогда не обижается на прозвище, потому что умен и отважен духом».

При последующих переизданиях текст рассказа почти не менялся.

МИЛОСЕРДИЯ

Впервые напечатана в сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1918, кн. 8.

Повесть написана в начале 1918 года. Косвенное доказательство этому находим в московской газете «Вечерняя жизнь», 1918, № 22, 16 апреля. В одном из ее разделов («Литературный блокнот») помещена заметка о первом чтении А. Н. Толстым этого произведения. Указывалось, что писатель недавно на одном из литературных вторников «прочел свой новый большой рассказ, примечательный и по теме своей, выхваченной, так сказать, из самой гущи повседневной, сегодняшней, нашей жизни, и по мастерству исполнения, отмеченного всеми прекрасными особенностями яркого дарования Толстого, сильного и нежного, такого по-русски самобытного и крепкого. Насколько вещь эта характерна именно для наших дней, сказалось даже в не лишенном меткости замечании одного из слушателей:

— Это,— сказал он,— рассказ о председателе домового комитета... Чувствования и переживания толстовского героя — некоего оставшегося без дела присяжного поверенного Василия Петровича, о коих говорится в рассказе,— они действительно глубоко симптоматичны для российского интеллигента, выброшенного в силу обстоятельств из числа активных участников новой жизни».

По словам автора, повесть «Милосердия!» явилась в его творчестве «первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете Октябрьского зарева».

При переизданиях повести автор, кроме стилистической правки, сокращал некоторые высказывания главных героев.

НАВАЖДЕНИЕ

Впервые напечатан: «Возрождение», 1918, 8 июня и в сборнике А. Толстого «Наваждение. Рассказы 1917—1918 гг.», изд-во Южно-русского общества «Печатное дело», Одесса, 1919.

Рассказ предположительно датируется 1918 годом. «Наваждение» представляет собой как бы первый, начальный этап работы писателя над темой петровской эпохи, работы длительной, протекавшей на протяжении большого периода творческого пути и приведшей к созданию романа «Петр Первый». Пробуждение интереса к прошлому России, в частности к эпохе Петра I, было обусловлено стремлением писателя исторически осмыслить бурную революционную современность 1917—1918 годов

Обращение к исторической тематике сопровождалось у А. Толстого поисками новой повествовательной формы, языка прозы. Писатель вспоминал позднее о пережитом им в 1914—1917 годах творческом кризисе и о том, как неудовлетворен он был бесцветным, невыразительным стилем многих литературных произведений той поры.

В своих исканиях А. Толстой обратился к изучению старинных документов, хранивших отпечаток живой, яркой, образной народной речи: «Покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи XVII века, так называемые дела «Слова и дела...» И вдруг моя утлая лодочка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал,— осязал: русский язык.

Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенно-

сти речи пытаемого, передать его рассказ... В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства. Увлеченный открытыми сокровищами, я решился произвести опыт и написал рассказ «Наваждение». Я был потрясен легкостью, с какой язык укладывался в кристаллические формы.

Рассказ этот я читал во время путешествия с вечерами художественного чтения по городам (осенью 18-го года) и рукопись потерял. Спустя два месяца, издавая в Одессе книжку рассказов, я от слова до слова, до запятой (пропустив только одно место в несколько слов) вспомнил его наизусть...».

Фабула рассказа заимствована из «Дела об иеромонахе Севского монастыря Никаноре, присланном из Монастырского в Преображенский приказ, вследствие объявления им за собою государева дела». Документ этот опубликован в книге: Н. Новомбергский. Слово и дело государевы (Материалы), т. II. Томск, 1909, стр. 18, «Известия Томского университета», книга XXXVI.

Ряд эпизодов рассказа — путь монахов в Киев через Батурин, посещение странниками дома Кочубея; поручение, которое дает последний Никанору; уход обоих монахов в Москву; взятие их там под стражу — заимствован писателем из обстоятельных показаний Никанора по данному делу.

Однако А. Толстой свободно отступает в ряде случаев от исторического документа. Старец Трифилий, упоминаемый в деле как спутник Никанора, превращен в повести в молодого послушника. Встречи его с дочерью Кочубея Матреной и образ этой красавицы-казачки являются тоже плодом творческой фантазии писателя.

В «Наваждении» А. Толстой не показывает нам наиболее крупных исторических событий эпохи. Строя сюжет рассказа в основном на передаче интимных, любовных переживаний героя, свое внимание писатель сосредоточивал на разработке общего историко-бытового фона и языкового колорита. «Наваждение» перекликается некоторыми звеньями своего сюжета с отдельными мотивами «Полтавы» Пушкина, давая, однако, иную трактовку фигуры Матрены (у Пушкина — Марии).

В рукописи, хранящейся в архиве писателя, рассказ первоначально назывался «Лунный свет».

Рукописный текст «Наваждения» мало отличается от текста публикации рассказа.

ДЕНЬ ПЕТРА

Впервые напечатан в альманахе «Скрижаль», Пг., 1918, сб. № 1.

«День Петра», над которым А. Толстой работал в 1918 году, представляет собой следующую после «Наваждения» ступень в разработке темы петровской эпохи. Здесь на первый план выдвинута фигура самого царя.

В работе над рассказом «День Петра», помимо переписки Петра I и некоторых известных мемуарных источников (Иоганн Корб, Ф. Берхгольц, Юст Юль), А. Толстым были также использованы следственные материалы из книг Г. Есипова («Раскольниковы дела XVIII столетия») и Н. Новомбергского («Слово и дело государевы»). В частности, из опубликованного Новомбергским дела о крестьянине князя Голицына Антоне Аристове, объявившем за собой государеву «слово и дело», заимствованы писателем строки, которые характеризуют протест людей того времени против разорительных последствий крутой преобразовательной ломки Петра, тяжким бременем ложившихся на плечи народа («...от поборов и податей разорились..., а ныне де еще сухарей спрашивают. Государь де свою землю разорил и выпустошил»). Вероятно, под влиянием этих материалов автор акцентировал в деятельности Петра отрицательные стороны.

В последующих редакциях рассказа эта отрицательная оценка постепенно смягчилась. К теме Петра I, но уже во всеоружии объективного исторического понимания эпохи и личности Петра I, А. Н. Толстой вернулся в своем романе «Петр Первый» и одноименной пьесе.

ДЕТСТВО НИКИТЫ

Начальные двенадцать глав повести впервые печатались в двухнедельном детском журнале «Зеленая палочка», Париж, 1920, №№ 2, 3, 4, 5—6. Начиная с главы «Разлука» и кончая главой «Как я тонул» — в журнале «Сполохи», Берлин, 1922, № 5. Заглавие в обеих этих публикациях было «Детство Никиты». 26 марта 1922 г. в литературном приложении к газете «Накануне» № 1 А. Толстой опубликовал еще одну главу, «Стрелка барометра», с подзаголовком «Глава из ненапечатанного романа «Повесть о многих превосходных вещах». Последние главы, начиная с главы «Страстная неделя», опубликованы впервые в отдельном издании повести (заглавие «Повесть о многих превосходных вещах», подзаголовки «Детство Никиты»), вышедшем в изд-ве «Геликон», Моск-

ва-Берлин, 1922. Впоследствии повесть выходила уже под заглавием «Детство Никиты».

Повесть написана в 1919—1920 годах. По свидетельству самого писателя мысль написать «Детство Никиты» явилась у него в связи с одним обстоятельством — он обещал издателю журнала «Зеленая палочка» дать небольшой детский рассказик: «Начал — и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какне бывают в детстве».

«Детство Никиты» А. Н. Толстой писал с особым внутренним подъемом и вложил в него много глубокого лирического чувства. В беседе писателя с чешским художником Франтишеком Кубкой А. Н. Толстой сказал об этом так: «Блуждал по Западной Европе, по Франции, и Германии, и, поскольку сильно тосковал по России и русскому языку, написал «Детство Никиты». Никита — это я сам... За эту книгу отдаю все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком. Дети хорошо его понимают и повторяют целые фразы из повести... Это русский язык, на котором говорят в самарской деревне. Русский язык манил меня домой к большевикам. Политически я был далек от них. Но был исполнен огромным желанием работать с ними и для них» (см. кн. Frantisek Kubka. Hlasy od Vychodu. Praha, 1960, стр. 133—134).

Повесть «Детство Никиты» автобиографична. Место действия довольно точно воспроизводит обстановку небольшой усадьбы отчима писателя А. А. Бострома, где Толстой вырос. Сохранено в повести даже название усадьбы — Сосновка. Впечатления детства, воспоминания А. Толстого о ранней поре жизни в Самарской губернии вошли в содержание его произведения. В одной из своих автобиографических заметок А. Толстой писал о себе так: «Я рос один, в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность...» В такой атмосфере растет и формируется и маленький герой повести А. Толстого Никита.

Родители Никиты во многом повторяют реальные черты отца и матери писателя. Мать Никиты зовут так же, как и мать писателя,— Александрой Леонтьевной. Для образа учителя прототипом послужил семинарист-репетитор Аркадий Иванович Словоохотов, готовивший будущего писателя к поступлению в среднее учебное заведение. Взаимоотношения Никиты с деревенскими ребятами — с Мишкой Коряшонком и Степкой Карнаушкиным, их дружба и товарищеские игры тоже автобиографичны.

Повесть А. Толстого «Детство Никиты» тематически близка написанному ранее (1912) небольшому рассказу «Логутка», рисующему обстановку усадьбы и деревни в голодный, неурожайный год. Этот рассказ можно считать маленьким эскизом к повести «Детство Никиты».

Тема детских воспоминаний занимала А. Толстого уже в 1902 году. В письме к матери от 3 марта 1902 года он, тогда еще начинающий писатель, сообщал: «...кажется, буду участвовать в журнале «Юный читатель»; если Николай (Н. А. Шишков, дядя А. Толстого.— А. А.) одобрит мои произведения, это было бы тоже недурно. Я уже начал — Детские воспоминания; кажется, что удачно».

Но замысел не был осуществлен. А. Толстой создал лишь небольшой автобиографический фрагмент, который при жизни писателя не печатался. Опубликован он был в 15-м томе Полного собрания сочинений под условным названием «Я лежу в граве». Эти воспоминания о детских годах представляют собой одно из самых ранних литературных произведений А. Толстого.

Отдельными своими эпизодами (обед в людской, обучение мальчика верховой езде, зимний вечер у лампы под завывание вьюги, наступление весны и первые полевые работы) этот фрагмент явно предвосхищает некоторые из страниц позднее написанного «Детства Никиты».

Как некоторый отзвук «Детства Никиты», — своеобразное продолжение его, воспринимается другое произведение А. Н. Толстого — «Необыкновенное приключение Никиты Рощина».

Повесть «Детство Никиты» связана с традицией автобиографического жанра в нашей классической литературе и стоит в ряду таких произведений, как «Детство», «Отрочество» Льва Толстого, «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, «Детство», «В людях» М. Горького.

Текст первой журнальной публикации «Детства Никиты» отличается от текста книги в ее переизданиях.

Автор меняет планировку глав; появляются главы «Последний вечер» и «То, что было привезено на отдельной подводке». В главе «Что было в вазочке на стенных часах» писатель устранил некоторые подробности, создававшие атмосферу таинственности и загадочности (непонятные совпадения сна Никиты с явью, сходство Лили и дамы со старинного портрета).

Значительной правке, главным образом стилистической, подверглась при переизданиях последняя глава повести — «Отъезд».

В конце главы «Отъезд» после слов «Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс» стояла еще такая заключительная фраза, завершавшая всю повесть: «Этим событием кончается его детство».

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)

Впервые под заглавием «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта (Из рукописной книги князя Туренева)» напечатана в сборнике «Эпопея», Москва-Берлин, изд-во «Геликон», 1922, кн. 2. Впоследствии печаталась под названием «Повесть смутного времени», с тем же подзаголовком.

Работая над повестью, писатель широко пользовался историческими и фольклорными источниками. Основные факты истории смутного времени заимствованы А. Толстым у С. М. Соловьева («История России с древнейших времен», т. VIII, гл. II; т. IX, гл. I). Материалом для «прелестных» писем послужили народные песни и сказания о Гришке Отрепьеве. Шутовские, смехотворные речи, которыми забавляет Наум царя и бояр в предпоследнем эпизоде повести, представляют собой авторскую обработку подлинных скоморошских виршей XVII века, так называемой «Росписи о приданом», опубликованной И. Забелиным в его «Домашнем быте русских царей» (т. II, гл. 5).

Так же как и в предыдущих исторических рассказах А. Толстого, в «Повести смутного времени» отчетливо ощущается связь некоторых образов с документальным материалом Н. Новомбергского «Слово и дело государевы». Образ лихого Наума, впоследствии превратившегося в инока Нифонта, несомненно, навеян чтением одного из розыскных дел — «Дела о старце Нифонте». Начальные строки этого дела почти совпадают с биографией толстовского героя.

М. Горький ставил «Повесть смутного времени» много выше исторических романов Алданова, Мережковского, Минцлова.

«...маленькая вещь Ал. Толстого,— писал М. Горький А. Чапыгину 20 мая 1927 года,— содержит в себе больше искусства и исторической правды, чем все три романиста... (имеются в виду выше названные писатели.— А. А.)».

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Отрывки рассказа под заглавием «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» опубликованы в сборнике «Петроград», 1923, № 2. Полностью под тем же заголовком впервые напечатан в сборнике «Недра», изд-во «Новая Москва», 1923, кн. 2. В том же году вышел отдельной книжкой в изд-ве Благово, Берлин.

Под заглавием «Рукопись, найденная под кроватью» впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.», изд-во «Атеней», Л., 1924.

Авторская дата: «март 1923 г.».

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

Среди произведений А. Толстого берлинского периода о белой эмиграции рассказ, по словам самого автора, вещь, «наиболее из всех... значительная по тематике». Его отличие от других рассказов этого цикла — необычайно сжатое повествование о всех последовательных фазах падения белой эмиграции.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.», изд-во «Атеней», Л., 1924.

Рассказ «Черная пятница» относится к циклу произведений А. Н. Толстого об эмиграции и зарубежном мире. Выступая в начале 1924 года с чтением нового рассказа в Ленинградском институте истории искусств, писатель указал, что богатый материал для ряда произведений о зарубежном мире ему удалось собрать в недавние годы жизни своей за границей (см. отчет о выступлении А. Толстого в журнале «Русский современник», 1924, № 2, стр. 276).

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

Впервые три первые главы под заглавием «Ибикус (повесть)» напечатаны в журнале «Русский современник», 1924, №№ 2, 3, 4. Полностью впервые под заглавием «Похождения Не-

взорова, или Ибикус» повесть вышла отдельным изданием, ГИЗ, Л.-М., 1925.

По свидетельству самого писателя, повесть была началом его литературной работы после возвращения на родину. Она составляет как бы центральную часть в цикле произведений о белой эмиграции, в который входят и более ранние произведения писателя («В Париже», «На острове Халки», «Рукопись, найденная под кроватью», «Черная пятница») и более поздняя повесть «Эмигранты» («Черное золото»).

В архиве А. Толстого сохранился набросок плана большого произведения о белой эмиграции — запись, составленная, видимо, задолго до работы над «Похождениями Невзорова». В этом плане имеется ряд пунктов, которые явились как бы наметкой содержания написанной позднее повести о Невзорове:

«Вот вам история небольшой, но чрезвычайно сложной человеческой ячейки, расплывшейся по Европе.

Начало распыления Одесса.

7 апреля 19 г. генерал д'Ансельм, команд. войсками интервенции, объявил эвакуацию Одессы в следующих выражениях:

«Вследствие недостаточного подвоза питания Одессы производится частичная разгрузка города».

А вчера еще в газетах было: «Наши войска неуклонно продвигаются... Ни в каком случае мы не намерены» — и т. д.

Население прочло.

И покатилося в порт колесом. Стрельба. Возы с багажом. Бандиты.

Все кверх ногами в гавань.

Плавающие сундуки.

Пар. Кавказ (т. е. пароход «Кавказ». — А. А.). Население. Слои. Классы. Контрразведка. Спекулянты на сундуках.

Монархический заговор.

12 дней.

Константинопольская баня.

Острова. Монастырь. Первые кабаре. Хождение за визами.

3 месяца на панели.

Дельцы. Улицы Галаты. Тараканьи бега.

Разбредаются по Европе...» (Архив А. Н. Толстого. ИМЛИ).

Этот план, несомненно, близок к повести, но в предварительных записях обращает на себя внимание отсутствие какой-либо наметки главного героя произведения — образа темного авантюриста С. И. Невзорова. Видимо, этот центральный образ, давший возможность А. Толстому так широко живописать

нравы и быт эмигрантского мира, стал вырисовываться в сознании писателя лишь позднее.

При написании повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» А. Толстой использовал непосредственно виденное и пережитое им в 1918—1920 годах. Н. В. Толстая-Крандиевская в своих воспоминаниях (Архив А. Н. Толстого) подчеркивает, что обстоятельства переезда писателя со всей семьей из Москвы на Украину, переход через пограничную линию, проходившую тогда близ Курска, были воспроизведены им «с фотографической точностью в повести «Ибикус», в конце главы 1-й». Описания морского пути из Одессы в Константинополь на пароходе «Кавказ», пребывания эмигрантов в карантине на острове Халки также включают в себя обширный материал личных впечатлений и встреч А. Толстого этого же периода.

А. Алпатов

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Овражки	5
Приключения Растегина	31
Прекрасная дама	80
Милосердия!	99
Наваждение	127
День Петра	138
Детство Никиты	164
Повесть смутного времени (<i>Из рукописной книги князя Туренева</i>)	260
Рукопись, найденная под кроватью	281
Черная пятница	311
Похождения Невзорова, или Ибикус	338
Примечания	465

А. Н. Т О Л С Т О Й.

**Собрание сочинений
в восьми томах.**

Том 2.

**Редактор тома
Ю. А. Крестинский.**

**Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова.**

**Оформление художника
Р. Г. Алеева.**

**Технический редактор
А. И. Шагарина.**

Сдано в набор 24/IX 1971 г.
Подписано к печати 5/IV 1972 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Объем 25,62 усл. печ. л. 26,41 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 739. Зак. № 1929.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47,
ГСП, улица «Правды», 24.

Индекс 70756

